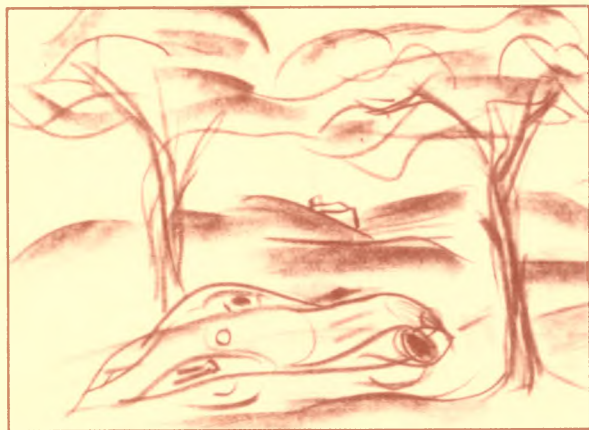


Георгий Эфрон

# ПИСЬМА







Г е о р г и й Э ф р о н

П И С Ь М А

Москва  
Дом-музей Марины Цветаевой

•

Болшево  
Музей М.И. Цветаевой

•

2002

ББК 83.3 (2Рос-Рус)  
Э 94

ISBN 5-93015-037-0

**Издание второе, исправленное**

**Составление, подготовка текстов, предисловие и примечания  
Е.Б. Коркиной**

*В оформлении обложки использована работа  
Г.С. Эфрона «Сельский пейзаж», 1939*

© Е.Б. Коркина, 2002

© Дом-музей Марины Цветаевой, 2002

## ГРУСТНАЯ СКАЗКА — СКУЧНАЯ ИСТОРИЯ

Я говорил порой Стефану Малларме:  
«Одни вас хулят, другие третируют. Вы раздражаете, вы кажетесь жалким. Газетный хроникер с легкостью делает из вас всеобщее посмешище, а ваши друзья разводят руками...

Но сознаете ли вы, ощущаете ли иное: что в любом французском городе найдется безвестный юноша, готовый во имя ваших стихов и вас самого отдать себя на растерзание?»

*Поль Валери.* Предисловие к сборнику Ст. Малларме 1931 г. (Перевод В. Козового.)

Автора писем, составивших эту книгу, уже более полувека нет на свете, и хоть он прожил всего 19 лет и оставил только письма, дневники и начальные наброски собственно литературной продукции, я полагаю, что мы имеем право говорить об открытии неизвестного писателя.

Георгий Эфрон был сыном Марины Цветаевой, чем и был до сих пор интересен. Поэтому основные факты его жизни хорошо известны по биографиям Цветаевой и здесь мы их лишь кратко напомним.

Он родился 1 февраля 1925 года в чешском селе Вшеноры близ Праги. Ему не было и года, когда семья переехала в Париж, где прошли его детство и отрочество. 1939 год круто изменил русло его жизни: вместе с матерью он в июне приезжает в СССР вслед за переселившимися туда двумя годами ранее сестрой и отцом, которые были арестованы на его глазах на болшевской даче в августе и в октябре того же года.

Полтора года скитаний по Москве и Подмосковию по временным жилищам и школам с матерью, теряющей почву под ногами; война, эвакуация, самоубийство матери и последующее одиночество на три года остающейся жизни. Публикуе-

мые письма как раз и охватывают период его жизни последних четырех лет.

Георгий Эфрон пережил трагедию его породившей и его погубившей семьи с редким достоинством, осмыслил и описал ее с беспрецедентной пронизательностью, тем более удивительной, что сам он находился не в стороне, а был увлекаем той же самой силой семейного рока. Он напрягал силы для самосохранения, для осуществления своего призвания и, наконец, для сопротивления среде. В одном из последних писем он нашел образ, представляющий его взаимодействие со средой обитания, — «рододендрон на Аляске». Конечно, он понимал, что в этих условиях, чтобы выжить, надо мутировать, инстинкт подсказывал ему преимущества *защитного* цвета и поведения, и он действовал порой инстинктивно-расчетливо и продлевал срок своей жизни, но столь же инстинктивно и упорно отстаивал он свой *вид, род, породу* — культурного европейца, сопротивляясь люмпенизации своего внешнего облика, своего языка, своего сознания. Его сил хватило на пятилетнее противостояние слепому террору, последовательно лишившему его родины, родителей, семейной защиты, жилища, куска хлеба, гонявшему его по чужой стране своими эвакуациями и мобилизациями то в Среднюю Азию, то в Трудовую армию, то в штрафной батальон и наконец втоптавшему его без вести и без следа в белорусскую землю знаменитой трехслойной тактикой наступления, когда два взвода кладут за мертвого, а третий проходит по их телам.

На таком жизненном фоне началось формирование писателя. Как человек ярко выраженного интеллектуального склада, он культивирует лабораторные жанры — дневники, письма, записи, антологии цитат из прочитанных книг. Рукописный сборничек стихов и прозы Георгия Эфрона 1941–1942 годов озаглавлен «Проба пера». Темы его письменной продукции, как у всякого начинающего, автобиографические, и в их свободном выборе отсутствие какого-то важного звена порой красноречивее, чем наличие.

Почти полное неупоминание отца в письмах, его отсутствие в воспоминаниях и размышлениях сына, зияет пустым местом, заставляя подозревать в этом неслучайном умалчивании если и не прямую «насмешку горькую обманутого сына над промотавшимся отцом», то чувство по крайней мере однородное. На него указывает и произведение, написанное в июле 1941 года, которое кажется мне настолько авторским, что я привожу его здесь целиком. Эта «сказка», кстати сказать, раскрывает внутренние противоречия между старшим и младшим поколениями временных обитателей болшевской дачи полнее, чем все мемуарные свидетельства, усугубляя эту коллективную трагедию судеб. Итак — Георгий Эфрон.

### ГРУСТНАЯ СКАЗКА

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были король с королевою. И было у них двое сыновей: Иван-королевич и Семен-королевич. Живут-поживают король с королевою, ан глядь, уж и королевичи подросли, большими стали. Что с ними делать, как занять? И выдумали король с королевой такую штуку: позвали они лесную колдунью и, обещав ей богатое вознаграждение, спросили ее: «Ой ты, гой еси лесная колдунья! Так и сяк, скажи, что нам делать с королевичами? Ведь они большими стали, выросли; настала пора чем-нибудь их занять да вдобавок и женить, а то бьют баклуши и с жиру бесятся...»

Призадумалась колдунья, призадумалась, а потом так ответила: «Добрые король и королева! Посылайте вы Ивана и Семена-королевичей в ту землю, что за тридевять земель, в дальнее царство, в тридесятое государство. Пусть добудут они там жар-птицу, и принесут живёхонько царю той земли. А у того царя — две дочери, и пойдут они за тех молодцов, что принесут им жар-птицу; так вот и сделайте...»



И обрадовались тому король с королевой да наградили колдунью щедро и отпустили с почетом. Позвали они обоих сыновей и сказали им о своем решении: «Так и сяк, мол, поедете вы за тридевять земель, в дальнее царство, в тридесятое государство, добудете жар-птицу и женитесь на царевнах»...

Тут Иван-королевич и Семен-королевич переглянулись. «Чего?» — кратко спросил Иван. «Ни черта!» — заявил Семен. «Ничего не выйдет», — сказали они хором. «То есть, как это... собственно говоря... понимать?..» — спросили король с королевой. «Очень просто, — ответили королевичи, — сейчас всё объясним. Во-первых, мы ни за какой жар-птицей не поедем, так как нам и здесь хорошо. Во-вторых, насчет царевен можете не беспокоиться — они нам не нужны; мы вполне удовлетворяемся нашими любовницами. А теперь перейдем к сути дела: ты, папаша, и ты, королева, давно уж нам надоели. Только мешаєте жить и деньги тратить. Вот мы и порешили от вас избавиться: подкупили колдунью, чтобы она вам с три короба про жар-птицу наговорила. А ведь нужно же кому-то поехать за этой жар-птицей (между нами, никакой жар-птицы, конечно, и в помине не было; но все-таки, для виду...), иначе в сказках и не происходит. Вот вы и поедете. Собирайтесь». Тут король с королевой запротестовали: «Но ведь так в сказках не бывает, чтобы королевичи на печи сидели, а король с королевой за жар-птицею гонялись!» Но Семен и Иван стояли в столь явно угрожающей позе, что пришлось повиноваться...

...Местные жители одной деревушки в тридевятиом царстве, в тридесятом государстве рассказывают о том, что в округе скитаются старик со старухой, нищие, оборванные; они воруют куриц, говоря, что это жар-птицы, и всё твердят: «Без-зобраз-зие! Не сказка, а чорт знает что такое!»

Мотивный анализ приведенной сказки излишен, все мотивы — на поверхности. И только слово «грусть» в заглавии несколько затуманивает взгляд читателя, на что писатель, очевидно, и рассчитывал.

---

Стихотворная продукция Георгия Эфрона вполне безнадежна. В книжечке «Проба пера» около 30-ти стихотворений. Все они редкостно бесцветны, натужны и анти-лиричны по существу. Мне известен только один столь же разительный пример полного отсутствия дара в русских стихах у человека редкостно одаренного и тоже, кстати, франкофона и европейца. Это — поэт и переводчик, танцор и музыкант — Валентин Парнах. (И такой же, кстати, анти-лирик, эгоцентрик и изгой.) Преобладающее настроение стихов Г. Эфрона — ирония и обличение; исключение составляют несколько стихотворений 1942 года о Париже — «О городе-друге», «Еще о Париже», «Столица», «Мечь за Париж». Эти стихи столь откровенно и столь безоглядно выражают «лучшие чувства» — любви, жалости, оскорбления за унижение любимого, — что прямо ошеломляют доверчивостью прямого выражения чувств вдруг разоружившегося автора.

Но поскольку, говоря о стихах, не привести ни строки было бы странно, вот лучшее (на мой, разумеется, вкус) стихотворение сборничка:

#### Эскиз кота

Грязноватый,  
Сиповатый,  
Мерзковатый  
Кот.  
Он дерет за рукава,  
Он ворует со стола,  
Он — полнейший  
Идиот —  
Кот.

Оно написано в июле 1941 года во время недельного пребывания в Песках Коломенских.

---

В записях, озаглавленных «Ташкентские зарисовки», Георгий Эфрон выступает как бытописатель — наблюдатель и моралист, эти записки — род «физиологических очерков» советской интеллигенции, писательско-академической среды. Цитаты длинноваты, но они стоят внимания.

29.VIII.42.

Недавно зашел к одному известному профессору-пушкинисту. Собственно говоря, знаком я не с ним, а с его женой; встречал ее в Наркомпросе, болтаем с ней о политике; она знает мою биографию и немножко воображает, что я — знаток международной политики, что не так уж неверно. Дело под вечер; только что прослушали вечернюю передачу Совинформбюро; сводка плохая; настроение — *en conséquence\**. В комнате — седоволосый и седобородый проф. Ц., его жена — с кротким, чуть-чуть уныло-ироническим выражением лица. Когда-то она была наверное красива; теперь поблекла, но сохранила некое обаяние доброты сердца. Он и она — типичные дореволюционные интеллигенты, перестроившиеся окончательно на новый лад, но сохранившие прежние привычки, *manières de parler\*\** какие-то повадки прошлого. Кроме того сидят племянник-красноармеец и племянница — сотрудница местной областной газеты. Красноармеец — молодой, чуть застенчивый, улыбающийся человек. Мадмуазель — вспылчивая брюнетка. Разговор — скользит. Все, кроме красноармейца, настроены оппози-

---

\* В соответствии (*фр.*).

\*\* Способы выражения (*фр.*).

ционно. Хотя, вернее, это типично интеллигентская фронда. Особенно кипятится молодая девушка. Она несдержанна на язык и клеймит колхозную систему. «Я была в районе, я видела, я знаю, что это такое...» Они с красноармейцем пикируются; она защищает частную собственность: «изначальное» и т. д. Он — «правоверен». Родственники посмеиваются над ее агрессивностью, но в душе согласны; советуют закрыть окно. Разговор неизбежно переключается на *thème du jour\**: второй фронт. Потоки высказываний, предположений, стратегических данных; в общем, все сходится на том, чтобы клеймить англичан за бездействие, и разделяют убеждение (прежнее) И. С. о «загрёбании жара чужими руками». Профессор и его жена, племянник и племянница плавают, явно плавают в море относительности; подобные «военно-принципиальные» разговоры неизбежно приводят в тупик. Дело в том, что совсем открыто никто не высказывается, и даже если высказываются, то опять-таки приходят в тупик, к неизбежному выводу: «мы ничего не знаем, всё впереди». Но какого чорта было так долго говорить, обсуждать положение, кипятиться и волноваться, чтобы притти к этому выводу? Мне кажется, что этот пессимистический исход, этот вынужденный фатализм, этот тупик напрашивался сам собой с самого начала; с самого начала можно было произнести этот вывод, не прибегая к длинным рассуждениям. Мне всё это напоминает басню Фенелона о Ruyghuz. Я это высказываю; все смущены и удивлены. Ясно, что надо было просто поговорить. Вот эта истинная черта русского интеллигента: просто поговорить, хотя знаешь, что из этого ничего не выйдет плодотворного. Иными словами: да мы знаем, что можно было сразу сказать, что мы ничего не знаем и не можем знать, что у нас

---

\* Вопрос дня (*фр.*).

нет данных, что мы можем только ждать событий, но для чего же мы собрались здесь, о чем говорить? Отчасти они правы, но как это несерьезно! Другое дело салонный французский, блестящий разговор, искупающий свою бессмысленность, бесцельность, бесплодность и бессодержательность своей формой, переливами языка, блеском парадоксов и анекдотов. Но здесь все говорят искренно, кипятятся — в который раз! — как настоящие дети. <...>

Самое печальное в приведенном отрывке — его метафизическая, так сказать, мизансцена: четыре человека, образующие родственный круг, и отдельный, тотально отдельный гость. Как на горной вершине сосна. О самозамкнутости чрезвычайной свидетельствует сама идея рационального анализа разговора в семейном кругу. Эта идея и этот анализ доказывают, что автор не понимает главного — иррационального — смысла подобных собраний, заключающегося в обоюдной радости видеть и слышать друг друга, в обмене любовью. Не «выводы» цель разговора, а звучание голосов, интонаций — барышня кипятится, юноша петушится — неважно от чего, важна атмосфера доверия и терпения, в которой купаются четверо участников, и только не причастный к обмену гость анализирует с недоумением содержательную часть беседы, которая на самом деле имеет столь мало значения для всех остальных.

Далее в записи появляются новые герои: «приходят два поэта: Павел А. и Владимир Л.». Вскоре оба гостя занимают всё пространство разговора.

Как большинство из своих собратьев, когда они собираются вместе, они начинают говорить о недалеком, довоенном прошлом. У этих двух в воспоминаниях явно перевешивает тоска по выпитому и съеденному. Все они ездили на съезды в республики, где их угощали; сколько выпито и съедено! Мне смешно. А. и Л. рассказывают, главным образом, о Грузии, драках в ресторанах, выпивках, имитируя акцент грузин. Всё это занимательно, ибо

Л.— прекрасный рассказчик, а А.— остроумный человек, но крайне притимивно. Нашли о чем вспоминать! О кафэ и окороках! Ну и источники вдохновения. А ведь это официальные сливки интеллигенции. Все-таки, насколько они ниже западной. А может, они правы? Ведь действительно, описываемые наслаждения — «беспорные». Это, конечно, так. Но это очень грубо и примитивно, и то что наслаждения такого сорта перевешивают в их сознании,— показательно и характерно, hélas\*. Такой «чувственный материализм» хорош и терпим только в гармоническом равновесии с gréoccupations\*\* и увлечениями высшего, даже иррационального порядка. Ce sont des poètes, que diables\*\*\*, надо быть тоньше! <...>

Эти наблюдения приводят автора к свойственным ему типологическим выводам.

Интеллигенция советская удивительна своей неустойчивостью, способностью к панике, животному страху перед действительностью. Огромное большинство вешает носы при ухудшении военного положения. Все они вскормлены советской властью, все они от нее получают деньги — без нее они почти наверняка никогда бы не жили так, как живут сейчас. И вот они боятся, как бы ранения, ей нанесенные, не коснулись и их. Все боятся за себя. В случае поражения, что будет в Узбекистане? Все говорят, что «начнется резня». Резать будут узбеки, резать будут русских и евреев. <...> Любопытно отношение интеллигенции к англо-саксонским союзникам. С одной стороны все говорят о предательстве Англии, наживе Америки, «исконной вражде» этих стран по отношению к СССР. Говорят о «загребании жара», «политике поп-

---

\* Увы (фр.).

\*\* Заботами (фр.).

\*\*\* Они же поэты, черт возьми (фр.).

intervention»\* Гессе, капитализме. С другой стороны наличествует симпатия к этим странам, ибо кто после войны будет «нас» снабжать продовольствием, кто будет помогать восстанавливать промышленность? Никому из них не хочется новых пятилеток. «Одни мы восстановимся только через 50 лет». Все мечтают о «condensed milk»\*\*, американском шоколаде, ширпотребе. И не только об этом. Многие фронтеры мечтают о том, что Англия и США сумеют сделать наш строй более гибким и либеральным, будет новый НЭП, увеличится свобода слова и печати и т. д. В интеллигентах борется сознание, что союзники слишком много говорят и слишком мало делают — и желание попользоваться в будущем благами, исходящими от этих же союзников. Из разговоров явствует, что жалеют не о Днепрогэсе и майкопской нефти, а о санаториях в Кисловодске и дачах. Им бы очень хотелось, чтобы союзники разбили немцев, восстановили границы СССР, а потом завалили продуктами, восстановили промышленность и немного смягчили «систему». И когда оказывается, что все-таки союзники не благотворительное учреждение, когда союзники медлят ли, мало бомбят ли, то начинается возмущение, разговоры о предательстве. Это очень любопытно.

На этом оканчиваются «Ташкентские зарисовки», но не аналитические наблюдения автора, дальнейшие образцы которых читатель найдет в публикуемых письмах.

Остается упомянуть о переводческих опытах Георгия Эфрона. Сохранилось начало его перевода романа Ж. Сименона «Преступление моих друзей»; видимо, это была последняя литературная работа Георгия Эфрона — дальше двух первых глав он не успел пойти.

---

\* Невмешательство (фр.).

\*\* Сгущенном молоке (англ.).

---

Список любимых книг способен раскрыть человека больше, чем его поступки и слова, всегда обусловленные обстоятельствами, ибо это область свободного выбора, самое личное и неотъемлемое.

В публикуемых письмах Георгия Эфрона читатель остановится перед частоколом названий упоминаемых, разбираемых, перечисляемых книг. Этими колышками он обозначает границы своей территории. Не всем дано туда войти, ибо это территория другой культуры. Одно из редких по откровенности и открытости писем посвящено его мучительной тоске по книге Сартра «Тошнота», это воистину *тоска по родине*. И может быть поэтому на фоне трагедии всех членов его семьи эта судьба кажется особенно трагичной.

Последнее утешение человека на земле (или последняя безутешность) — проститься с тем, кого любил. Николай Степанович, чеховский профессор из «Скучной истории», alter ego нашего героя (согласно его прямому признанию в письме сестре), простился со своей воспитанницей в харьковской гостинице. «...Мне хочется спросить: “Значит, на похоронах у меня не будешь?” Но она не глядит на меня, рука у нее холодная, словно чужая. Я молча провожаю ее до дверей... Вот она вышла от меня, идет по длинному коридору, не оглядываясь. Она знает, что я гляжу ей вслед, и, вероятно, на повороте оглянется. Нет, не оглянулась. Черное платье в последний раз мелькнуло, затихли шаги... Прощай, мое сокровище!»

Когда пытаешься себе представить, кому бы мог адресовать эти прощальные слова июльским днем 1944 года Георгий Эфрон, вспоминается томик Малларме в его вещевом мешке. Да, наверное, только ему.

Е. Коркина



Муру

Къ и корабъ о ки и сая -  
Пурвай, мей сими, и славотрауи -  
Въ крси, вена, кралам калогора! -  
Куда наади авато - вѣсрѣи  
Вѣато, особенно - ки еба,  
Дуръ не аватолаба се

Вийи есе... есе? Пѣ -  
Вийи! Но савине Вийе,  
Паворни ко ралеи аати Вийе.  
Вемилуи, еидрауи и вийи -  
Уфес ребенку и помачеи  
Хелми и кудеуахеи порсѣи:  
- „Дуръ - аватои ават, авато - аватои ават!“

Оди аватои аватои аватои -  
Чело - тура авато авато!  
А сѣи аватои - авато, ес авато авато -  
авато - и сими авато  
авато, и аватои авато:  
Въ авато, аватои авато.  
Да не аватои авато!  
Дуръ - аватои авато, авато - авато,  
Вѣато - аватои авато авато

Къ мелеи авато авато  
Дуръ авато, авато S.O.S.

Къ авато авато авато!  
Пурвай, мей сими, авато авато -  
Въ сѣи авато, авато авато, авато авато, авато авато -  
Въ авато - авато, и авато - авато,  
Въ авато - авато - авато, и авато - авато,  
Въ авато - авато! и авато - авато!

Вѣато, авато 1932 г.

**I**

**Москва. 1940 – 1941**

1

20/I/40

Милая Лиля!

Это пишет Мур — у меня к Вам большая просьба — достаньте мне пожалуйста через Журавлева билет в МХАТ — мне бы хотелось посмотреть или «На дне» или «Любовь Яровая», и позвоните мне пожалуйста в Голицыно (от 6 до 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> час. вечера) тел. 0-0 дом писателей — когда мне приезжать — если меня бы случайно не было — попросите передать. Я поступаю в школу 24 го и хотелось чтобы это было до. У нас пока всё хорошо — мама усиленно работает<sup>1</sup> и шлет сердечный привет Вам, и Зине — я тоже. Мур.

2

10/III-41

Милая Аля!

Муля получил твое письмо и недавно читал его нам. Мне очень понравился бодрый тон твоего письма и то, что ты даже ходишь в кино. Теперь спешу писать о себе — потому что знаю, как тебе всё интересно. В прошлом году — весной — я болел воспалением легкого, краснухой, гриппом, свинкой и простудой. В 8<sup>м</sup> кл(асс) перешел без испытаний — по болезни. В этом учебном году учился уже в 2<sup>х</sup> школах — всё переезжали с места на место. Теперь живем на Покровском бульваре, в 15 минутах ходьбы до метро «Кировская». Учусь поблизости — в переулке. В школе ко мне относятся очень хорошо — я играю видную роль в классе. Имею успех у мест-

ных кокеток и с успехом острою. Состою членом МОПР'а<sup>1</sup>. Уж добрый год, как бросил рисовать (со средней художеств<sup>енной</sup>) школой ничего не вышло, да и тяги к живописи нет). Я окончательно охладел к призванию художника, и никогда не вернусь назад. Составляю себе библиотеку. Теперь стал знатоком Маяковского и Багрицкого. Усиленно занимаюсь изучением истории литературы и критики. Жадно читаю исследования о поэтике Маяковского. Вообще предполагаю быть критиком — думаю после школы и армии пойти в ИФЛИ<sup>2</sup>. Все знакомые, как и мои, так и мамыны, говорят, что я буду критиком. В театры не хожу, а зато сделался специалистом по симфонической и фортепианной музыке. Не пропускаю ни одного концерта<sup>3</sup>. Очень люблю симфонии Чайковского. Отлично имею по: литературе, русскому, черчению, истории и французскому яз<sup>ыку</sup>. Читаю историю дипломатии, Щедрина, последние стихи Кирсанова, изучаю Маяковского. Целую крепко. Мур.

3

24/III-41

Милая Аля!

Надеюсь, что ты получила мои первые две открытки. У меня начались весенние семидневные каникулы. Я в них много читаю, хожу по городу. Все стараюсь достать побольше критической литературы<sup>1</sup>. В этой четверти, как и в двух предыдущих у меня две средств<sup>енных</sup> отметки — на этот раз по физике и географии. Что буду делать летом — не знаю. Вряд ли куда-нибудь уедем. Возможно, буду ездить к Лиле на дачу, или что-нибудь в этом роде. Теперь осталась одна четверть — самая трудная и ответственная. Не переносу физики — и она меня тоже не долюбливает. Верно, скучное письмо? Но

ничего интересного со мной не происходит, так что почти не о чем писать. Но хорошо, что приближается лето — как-то радостнее будет, да и погода приятнее. Живу жизнью довольно бесцветной, но всё хорошее еще впереди. И все-таки приятно, что приближается лето — всё же может быть веселее, чем зимой. Всем сердцем с тобой и целую крепко. Твой брат Мур.

4

13.IV-41.

Милая Аля!

Получил, также как и мама, твое письмо от 4.IV-41<sup>1</sup>. Очень был рад, так как всегда с большим интересом жду от тебя вестей. Сегодня, как известно — выходной, и оттого наконец могу написать, а то школа и уроки не оставляют времени. В своем письме ты пишешь, что мои слова о том, что я «никогда не буду рисовать» — относительно. Ты меня не совсем хорошо поняла — я писал лишь о том, что искусство не будет моей основной профессией; продолжать же рисовать для развлечения я конечно буду. Вследствие школы и наличия уроков, мой день располагается довольно однообразно — утром: вставание в 7 часов, омывание, поедание и убегание в школу. Школа до 2<sup>х</sup> с 1/2 часов. Потом — дома: завтрак, приготовление уроков, валяние, слушание радио, обед, слушание радио до постели в 11 часов. На завтра — противная перспектива в виде контрольной работы по геометрии. Я составляю себе неплохую библиотечку нужных мне книг. Твой «альманах с Маяковским» давно взят от Лили и красуется у меня на полке. С каждым днем я начинаю всё более ценить Чайковского. Для меня он не композитор, а друг. Что за музыка! Я готов слушать его четвертую, пятую и шестую (патетическую) симфонии, затаив дыхание — а ведь ты меня знаешь, как я туг на восторги. Вообще раскрытие музыкального творчества

Чайковского было для меня основным событием моего пребывания в Москве. Его музыку я ощущаю как что-то родное. Вообще этот комплекс ощущений трудно передаваем словами. В своем письме ты пишешь, что с такой тетушкой как Лиля все пути открыты (в смысле посещения театров). Дело в том, что теперь отменили контрамарки, и приходится или итти клянуть билет у какой-нибудь знакомой лилиной актрисы — что я не намереваюсь делать, так как не вижу себя в роли просителя «от тетушки» — или же если дадут откуда-нибудь билет, то на так называемые «свободные места», откуда каждый может тебя выгнать — нет, благодарю покорно! Если уж итти в театр, то по крайней мере надо сидеть на хороших, солидных местах, а то противно. Заметь, я бы мог к у п и т ь билет, но просто как-то не тянет — даже на Пристли, которого расхвалили — и то не пошел. Довольно интересную жизнь я вел в период моего пребывания в Голицыно, около дома отдыха Писателей (в период времени декабрь — лето 1939—1940 гг.). Ходил я там в сельскую школу, брал уроки математики у завуч'а, а прямо после школы приходил в дом отдыха, где завтракал и обедал в сопровождении хора писателей, критиков, драматургов, сценаристов, поэтов и т. п. Такое салто-мортале (от школы до писателя) было довольно живописно и давало богатую пищу для интересных наблюдений и знакомств. Бесперывная смена людей в доме отдыха, красочный коктейль, хоровод меняющихся людей, всё это составляло порой интересное зрелище. Учился я там немного — большей частью болел. Болел много, обильно, упорно и с разнообразием. Болел я и тяжелой простудой, и насморком, и гриппом, осложнившимся ангиной, и ангиной, осложнившейся гриппом, и краснухой, осложнившейся форменным воспалением легких... Приезжал доктор из Литфонда, говорил: «Ну-с, милейший...» и начинал терпеливо выстукивать. Когда я выздоровел и вновь пошел в школу, и приблизились испытания, то в Москве схватил свинку

и опять слег. Завуч за меня хлопотал, и я был переведен в 8 <sup>й</sup> класс без испытаний с роскошным свидетельством Наркомата Путей Сообщения. После Голицыно мы жили в Университете у одного профессора в квартире (ул. Герцена), жили у Лили, я поступил в 167 <sup>ю</sup> школу, потом нашли эту комнату на бульваре, я перешел в 326 <sup>ю</sup> школу, потом эту школу перевели в 335 <sup>ю</sup> школу, потом меня перевели в первую смену... Уф! Рад, что ты любишь «Евг(ения) Онегина». Я делал огромный доклад на тему «Евгений Онегин — столичное общество», за который меня хвалили и называли «замечательным». Как видишь, хвастаться я не разучился. Между прочим, теперь стал неплохо учиться по математике — на хорошо, а по черчению получаю только отличные отметки, хотя оно очень трудно. Ну вот и всё. Целую крепко.

Твой брат      Мур

5

24.V-41

Милая Аля!

Пишу после завтрака — 1 ч. 30 мин. дня. Сейчас у меня пора испытаний. Успешно сдал алгебру (хор.) и физику (пос.). Сегодня написал сочинение (отметки еще не знаю). Тема: Защита родины в «Слове о полку Игореве». Осталось еще сдать: литературу, геометрию, французский, анатомию (всё это устно). Всё это будет длиться до 5 <sup>го</sup> включительно. Получил паспорт и прописался. Удалось достать однотомник произведений Маяковского (40 <sup>й</sup> г. издания) — самый шикарный. У нас лето неуверенное — то дожди, то солнце всходит. Собираюсь итти продавать ненужные учебники. К испытаниям готовлюсь не интенсивно — всё равно я практически в 9 <sup>й</sup> кл(асс) уже перешел. Наоборот, все наши ученики беснуются и приходят в ярость, когда я к ним подхожу, поднимая палец и говоря:

«Мальчики-девочки, не волнуйтесь!». Вообще товарищи сильно переживают всяческие консультации, перспективы отметок и т. д., а также футбол и «Спартак припух». «Знаешь, Семичастный как рванет в ворота, а тут Леонтьев как даст Семичастному, а судья ка-ак засвистит, тут Спартак и припух!». После испытаний собираемся в экскурсию — в Болшево: там будем осматривать молочный совхоз. Я начал различать много школьных стилей: говорить: «я засыпаюсь», когда все знают, что ты отличник, или заявлять о том, что ты не готовился, а на испытании всё знать, и т. д. и т. п. И всё это сопровождается шумом, криком и мрачными предчувствиями. Я совершенно себе не представляю, что буду делать, когда настанут каникулы. Обычно дело представляется так: когда учусь, желаю каникул, когда — каникулы, то желаю школы... дело известное. В каникулах я обычно шныряю по книжным лавкам улицы Горького и Кузнецкого моста, иногда продаю свои книги. Изредка хожу в кино. Просто нечего делать. Кстати, я перестал расти, не в пример одному товарищу моему — огромного роста, и все оглядываются. Теперь я — нормального роста, как надо. Вчера был в саду «Эрмитаж» на открытии — было пустынно и холодно и где-то наверху хрипел духовой оркестр. На Кузнецком открылась выставка карикатуры — нужно будет пойти. Вчера видел картину «Фронтовые подруги»<sup>1</sup> — хороша документальная часть фильма. Скоро на экранах столицы появится новая американская картина: «Песнь любви»<sup>2</sup>, где играет Ян Кипура. Когда показывали «Большой Вальс»<sup>3</sup> с Фернаном Гравэ и Луизой Рейнер, все наши девицы смотрели по 8—10 раз. Первый раз в жизни забыл об именинах — и проворонил их. Если бы ты меня видела, то узнала бы с трудом — я не похож на мешковатого субъекта 39 го года. Я очень сильно похудел, что мне очень идет. Стал хорошо одеваться. Если сравнить с «субъектом», то раньше был крайне болтлив, а теперь обладаю



сельф-контролем<sup>4</sup>. Сегодня решил написать тебе письмо большое, а то обычно письма мои какие-то плюгавые выходят, и скучно читать. Продал отдельные произведения — раз есть однотомник. Бережно храню Гофмана — очень занимательно читать его. У нас в Москве на эстрадном горизонте поднялась новая звезда: Иракий Андроников (устные рассказы), который имеет огромный успех. Я уже был четыре раза на его вечерах в клубе МГУ.

В первый раз был в Зоопарке. Там много интересных зверей — африканский бегемот, жирафа, разные среднеазиатские птицы. Посетители всё делают, чтобы звери как-нибудь их заметили — каждый рад, когда зверь именно на него обращает внимание. Долго прокривлявшись перед отделом рогатых, мне удалось получить привет от забавного марсельского барашка, в виде бляния. Потом я видел, как слон «Вовка» погрозил хоботом одной даме, которая его дразнила. Вообще в Зоопарке приятно иногда посидеть просто так, читая книжку.

Недавно прочел «1919 й г.» Дос-Пассоса. Очень понравилось. Маме удалось достать 10 томов Лескова (полное собрание сочинений). Действительно, что я буду делать летом? Вряд ли мы куда-нибудь уедем. Возможно, будем навещать знакомых на дачах. В следующем году собираюсь заняться лыжами. Список моих любимых книг: Чехов, повести и рассказы; Сартр, «Тошнота»; Кафка, «Замок»; Э. По, повести и рассказы; А. Дёблин, «Берлин Александерплац»; Марк Твэн, повести и рассказы; Гофман, новеллы и повести; Дабит, рассказы. Любимые поэты: Пушкин, Лермонтов, Валери, Готье, Расин, Маяковский, Маллармэ. Сейчас — 3 часа 30 минут. Пора кончать. Мама сейчас пойдет и опустит оба письма: мое и ее. Пиши мне почаще. До свидания. Жму крепко руку, целую крепко.

Твой брат Мур

Шлю тебе свою паспортную фотографию.

3.VI-41

Дорогая Аля!

Сейчас — 11 ч. 30 мин. дня. За окном почему-то идет подобие снега. Но я люблю такую погоду. За столом мама тоже пишет тебе письмо<sup>1</sup>. В последние два-три месяца мы сдружились с Асеевым<sup>2</sup>, который получил Сталинскую премию 1<sup>й</sup> степени за поэму «Маяковский начинается». Он — простой и симпатичный человек. Мы довольно часто у него бываем — он очень ценит и уважает маму. Мама предполагает выпустить книгу переводов — это хорошая идея<sup>3</sup>. Сегодня иду фотографироваться — формат открытки — 6 карточек. Непременно пошлю тебе, как только будут готовы. Фотографируюсь в студии «Турист» — Кузнецкий мост. Уже сдал все испытания, кроме анатомии. Все — вполне успешно: алгебра — хор., геометрия — хор., физика — пос., сочинение — отл., литература устн., — отл., франц. яз. — отл. На лето побрею голову — хочу лечить перхоть и буду ходить в тубетейке. Не думай, что я о тебе забыл. Судя по общему тону моих писем, я о тебе мало думаю. — Ничуть, просто, что же мне в моих письмах к тебе писать о тебе же, которая сама тебе наверное надоела; так вот я и пишу о себе — тебе же интереснее читать. Мой постоянный вопрос, который приходится ставить всё время это — что делать? Еще когда была школа, как-то был занят, хотя и неинтересными вещами; а теперь... Действительно, в каникулы совершенно нечего делать. Перспектива ездить с мамой к ее знакомым на дачи — не из интереснейших: там, по моим расчетам, нет никакой молодежи, а только отдыхающие от трудов писатели<sup>4</sup>. Мама подружилась с Крученых (есть такой поэт, вернее, словообразователь). Вот и будем ездить к нему на дачу. Буду ходить в Эрмитаж — всё-таки там ничего, иногда

есть неплохие концерты, и вообще мне там нравится. Все мои знакомые девушки разъезжаются: Мирэль Шагинян — в Коктебель (10 й год туда едет); Иэтта Квитко — на практику живописи в Новый Иерусалим — я туда буду ездить — там прекрасная природа. Но все они интересуются живописью, а я давно перестал и всегда выходят споры, потому что я не перевариваю Грабаря и Герасимова и ратую за Мазерееля и Пикассо. Только что звонила Лиля — получила на имя мамы книгу стихов Эренбурга об Испании и Франции «Верность», с трогательным посвящением<sup>5</sup>. Сегодня мама пойдет в Гослит — подписываться на заем. Сейчас пойду покупать еду к Покровским воротам. Сегодня в 6 час. придет Муля. Слушай, Аля, знаешь что: это говорит Мур, которого ты хорошо знаешь — не унывай и надейся! Несмотря на расстояние и разность условий, живем мы с тобой вместе. Целую крепко.

Твой брат Мур

7

7.VI-41. <sup>1</sup>

Дорогая Аля!

Получили два твоих письма и открытку. У нас погода меняется раз десять в день и не знаешь, как одеться. На ул. Горького — от Кремля до площ⟨ади⟩ Маяковского — ломаются дома, строятся большие новые магазины и т. п. Очень красиво и хорошо — мне нравится. Только что прослушал по радио преинтереснейшую передачу — «Чайковский в Клину». Давали отрывки из 6 й симфонии. Как гениальна и замечательна она! Я вообще никогда не восторгаюсь и редко прихожу в энтузиазм, но 5 ая и 6 ая симфонии поражают меня, да и весь Чайковский — здорово. В конц⟨ертном⟩ зале имени П. И.<sup>2</sup> только он соби-

рает полную аудиторию — да еще, пожалуй, Вагнер. Сейчас будут передавать по радио «Петрушку» Стравинского. Прекрасная вещь — очень люблю. Все мои знакомые школьные девицы удивляются, как это я — остроумный и веселый молодой человек — могу любить «серьезную музыку». «Ах, знаете, Георгий, так скучно...» Зато обожают оперетту. Вообще-то еще неизвестно, кто лучше: наши веселые девицы из школы или умницы из ИФЛИ или Библиотеки Иностранной Литературы. Первые неумны, вторые часто скучны. Сложный вопрос! Со мной произошел смешной казус: в школе у меня прочная репутация Дон-Жуана — хотя в этом отношении я совсем не силен; кроме того, все думают, что у меня масса друзей, что я не имею ни минуты свободной, хотя, честное слово, у меня нет ни одного друга и большую часть времени я не знаю, куда себя девать. Ни у одного человека в школе нет правильного представления о моем подлинном образе жизни и все идеализируют мое существование. Происходит конфуз — стоит мне кого-нибудь встретить на улице — и уже похлопывания по плечу, подмигивания и когда я говорю, что иду в парикмахерскую, — «знаем, куда ты идешь!» и т. п. — самым убежденным тоном. Чорт знает что такое! Мама почему-то непрестанно чихает, хотя время хорошее. Прочел превосходную книгу Карко «Улица»<sup>3</sup>. Очень хорошо. Наше окно выходит прямо на Военно-Инженерную Академию и видно, как тренируются красноармейцы. Вчера (позавчера) меня удалось затянуть на футбол — и мне очень понравилось, и я теперь «болею» как всем приличествует. Сдал анатомию на «отлично». Экзамены кончены. Уф! Наши девочки были разочарованы «Песней о Любви»: «Кипура поет хорошо, но играет, как сапог, и почему он так тарасит глаза?» Действительно «Песнь» — старье<sup>4</sup>. А Милица Корьюс<sup>5</sup> поет <в> сто раз лучше, чем эта Глэдис Суорсаут. Да просто «Большой Вальс» ни с чем не сравним. По радио — какие-то скучные романсы Стравинского.

Сегодня — собрание нашего класса. Выдадут ведомости и дневники. Письмо вышло какое-то легкомысленное.

Целую крепко. Твой брат Мур.

8

19.VI-41.

Дорогая Аля!

Сегодня получили твою открытку от 6.VI-41. В Москве стоит жара, сменившая частые ливни. Я часто пью, ем мало, хожу по липкому асфальту. Вчера был на даче у знакомых — катались на лодке, пили чай и т. п. — в общем: дача и только. Каникулярная жара. Я ничего не делаю — слушаю радио, читаю книги, продаю книги в книжных лавках — те же книги, которые здесь купил когда-то. Я теперь бритый и хожу в кепке, которую ношу так: <рисунок в тексте> что мне придает вид капитана и очень мне идет<sup>1</sup>. У меня два новых увлечения: одна девица<sup>2</sup> и футбол. Девицу оставили на 2<sup>й</sup> год в 9<sup>м</sup> классе, ей 18 лет, украинка, была в Ташкенте, а теперь ей нечего делать и мы гуляем, обмениваемся книгами, ходим в кино и т. п. Мама злится, что «ничего не знает о моей «знакомой», но это пустяки. Во всяком случае я с этой девицей здорово провожу время, она остроумна и изящна — а что мне еще надо? Теперь — 2<sup>ое</sup> увлечение. Собственно, увлечение № 1 не есть увлечение, а так — времяпрепровождение. И то хлеб, спасибо. Увлечение № 2 — футбол — я предвидел. Острые ощущения — замечательная штука! Я был уже на 4 матчах первенства страны. «Болею» за кого попало. В СССР приехали писатели Жан-Ришар Блок и Андрэ Мальро. Блок выступал в «Интернац(иональной) литературе». Сегодня был в кино с моей девицей — смотрели «Кино-Концерт»<sup>3</sup> и «Старый Двор»<sup>4</sup>. Ничего. Лемешев качается на люстре — эффектно. Мы смеялись над рырыми поклонницами Леме-

шева. Моя подруга любит джаз и балет и не понимает «большой музыки». Обожает читать Клода Фаррера. Мы с ней часто гуляем вечером — днем слишком жарко. В общем, как видишь — живу. Сегодня иду на футбол: Трактор — Динамо. Прочел замечательнейшую книгу — прямо открытие для меня: «Богатые Кварталы» Арагона<sup>5</sup>. А мама эту книгу не переносит. Замечательная книга, просто прекрасная. Все знакомые и незнакомые ругают на все лады Институт литературы (ИФЛИ). Один мой товарищ окончил 10 классов и хочет итти туда, я его отговариваю и рекомандую ГИК (институт кинематографии), да и сам подумываю об этом (киносценарист — шикарно). Но мне еще два года учиться, и время есть.

Ну вот, всё. Ну пока, до свидания, целую крепко. Твой брат Мур.

9

11.IX.41.<sup>1</sup>

Дорогая Лиля!

Я думаю, что до Вас уже дошла весть о самоубийстве М. И., последовавшем 31<sup>го</sup> числа в Елабуге. Причина самоубийства — очень тяжелое нервное состояние, безвыходность положения — невозможность работать по специальности; кроме того, М. И. очень тяжело переносила условия жизни в Елабуге — грязь, уродство, глупость. 31<sup>го</sup> числа она повесилась. Она многократно мне говорила о своем намерении покончить с собой, как о лучшем решении, которое она смогла бы принять. Я ее вполне понимаю и оправдываю. Действительно, как она пишет мне в посмертном письме: «дальше было бы хуже». Дальше для нее был бы суррогат жизни, «влачение своего существования». Она похоронена на Елабужском кладбище. После похорон я забрал все вещи и переехал

в г. Чистополь, где находится Асеев, детдом Литфонда и множество семей писателей Москвы. Ввиду безвыходности моего положения — в Чистополе мне нечего было делать,— я решил уехать в Москву, на страх и риск. Но накануне дня отъезда пришла телеграмма, от Литфонда, зачисляющая меня в Детдом литфонда. Кроме того, мне выдадут единовременное пособие. В Чистополе я распродал 90% вещей М. И.— чтобы обеспечить себя какой-то суммой денег (М. И. так и писала в письме — чтобы я распродал все ее вещи). Итак, мне обеспечено жилье, питание, стирка, глажка и, главное,— учеба. Буду учиться в Чистопольской школе. Вещей на зиму у меня вполне достаточно — в этом отношении я богат. Кроме того, у меня будет пособие и есть деньги от продажи вещей. Итак — обо мне не беспокойтесь: я полностью устроен и обеспечен. Теперь пишу о главном — для меня. *Лиля, разыщите Митьку. Всеми силами старайтесь узнать, где он. Узнайте, в Москве ли он, какой его адрес. Пошлите кого-нибудь из знакомых в ИФЛИ (в Сокольниках) — может, там знают, где он (он зачислен в ИФЛИ). Если он в Москве, передайте ему приложенное здесь к нему письмо. Если в Москве его нет, узнайте куда он уехал. Его телефон В-1-97-51. Сделайте всё возможное, что в ваших силах, чтобы узнать где он, что с ним.* Он мой единственный друг. Теперь читайте внимательно \*: как только узнаете, где он находится, немедленно шлите мне телеграмму, сообщающую, где он находится, что с ним, его адрес. Лиля, денег на это не жалейте: это единственное мое желание. Прошу его выполнить. Это — не прихоть. Мне важно это знать: судьбу друга. Телефон Мули: К-2-42-61. Итак, немедленно, когда узнаете что-нибудь

---

\* Здесь и далее выделенные курсивом слова в оригинале подчеркнуты. Слова, выделенные разрядкой, подчеркнуты красным карандашом. — *Ред.*

о Митьке, шлите мне телеграмму. Очень прошу Вас об этом.

Желаю всех благ, всего доброго.

Целую крепко Вас и Зину.

Ваш Мур.

Адрес для телеграммы:

Татарская А.С.С.Р.

гор. Чистополь

ПОЧТА — до востребования

Эфрону Г. С.

〈На полях:〉

P.S. Не пишите писем — не доходят, долго идут.

〈Приложено письмо к Д. В. Сеземану:〉<sup>2</sup>

11.IX-41

Mon vieux Mitia!

Je t'écris pour t'annoncer que ma mère s'est suicidée — pendue — le 31 août. Je n'ai pas l'intention de traîner la-dessus: ce qui est fait est fait. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle a bien fait et qu'elle a eu raison de se suicider: c'était la meilleure solution, et je lui donne pleine et entière raison. Après un voyage cauchemaresque, j'ai déménagé à Tchistopol, où se trouvent beaucoup de familles d'écrivains évacués. Après avoir vécu quelque temps chez Acéeff et vendu toutes les affaires de ma mère (pour environ 2.000 roubles), je pris mon parti, quoi qu'il en coûte, malgré les bombardements et tout, de venir habiter à Moscou. Je rassemblai toutes mes affaires, me munis d'un sauf-conduit et me préparai à partir par voie d'eau jusqu'à Gorky, quand le directeur du Detdom du Litfond me convoqua et me montra un télégramme du Litfond de Moscou à son nom, lui adjoignant de m'inscrire à ce Detdom d'enfants des écrivains de Moscou (il y en a de



tous âges). J'aurai où habiter, je serai «nourri, couché, blanchi» et, surtout, j'étudierai à l'école en 9<sup>me</sup> classe avec les autres enfants d'écrivains. Après avoir mûrement réfléchi, je résolu de rester, étant donné, surtout, le fait que j'irai à l'école, tandis qu'à Moscou — qui sait? Cette décision ne me fut par facile à prendre — je voulais énormément te voir, te parler, voir Moscou et Moulia, etc., mais ce sacré bon sens... Du reste, je crois qu'à ma place tu serais resté aussi. Maintenant je veux que tu saches une chose: quoi qu'il en soit des événements à venir, viendra un jour où je reviendrai à Moscou. Tous mes efforts tendent à cela. De Detdom quand cela se pourra, reviendra illico à Moscou (il y a pas mal de «gosses célèbres»). Quand cela se pourra, je reviendrai à Moscou. De ton côté, fais tout ton possible pour être à Moscou, si tu pars, quand ce sera possible. Etant donné cela, nous nous rencontrerons indubitablement. Je te prie fort de m'écrire à Tchistopol un télégramme où tu diras où tu habites: c'est très important pour moi de ne pas te perdre de vue. Je t'en prie fort. Maintenant je te dis «au revoir, vieux». Quoi qu'il en soit, nous finirons bien par nous rencontrer. Espère en l'avenir — il est à nous.

Je te serre la pince  
Ton ami Mour.

Адрес: Татарская А.С.С.Р.  
гор. Чистополь  
Почта — до востребования  
Эфрону Г. С.

P.S. n'écris pas de lettres — elles vont trop lentement.

**II**

**ТАШКЕНТ. 1942 – 1943**

26/III-42.

Дорогой Муля!

Сегодня получил твою телеграмму; очень рад, что мы с тобою вновь вошли в контакт и знаем место пребывания друг друга.

После того, как ты выехал из Москвы <sup>1</sup>, я оставался на Мерзляковском переулке недели две. Но, видя что делать мне было ровным счетом нечего и следуя официальным предписаниям, я счел целесообразным эвакуироваться <sup>2</sup> и 30 <sup>го</sup> октября я, получив соответствующий эвакуационный документ от Союза Писателей, выехал с эшелоном Союза в направлении Ташкента. Выехал не один, а в сопровождении знакомого поэта-переводчика А. С. Кочеткова (он написал пьесы «Коперник», «Надежду Дурову» и т. д.) и его жены.

Путешествие наше было исключительно трудным и утомительным; в Куйбышеве, благодаря тому, что с нами ехали активные, разбитные академики, эшелону дали проводовольствие и мы уж поехали, как пассажирский поезд, т. е. гораздо скорее, чем прежде. Всё же путешествие длилось свыше 3 <sup>х</sup> недель, и только 23 <sup>го</sup> ноября мы прибыли в Ташкент.

Когда мы ехали, то казалось, что самое главное, основное — это доехать до Ташкента. Когда же мы прибыли в столицу Узбекистана, то основным вопросом стал вопрос о прописке. Из нашего вагона (вагона писателей) только Кочеткова и поэта-переводчика В. Державина оставили в Ташкенте (в качестве переводчиков, нуж-

ных людей); всех же остальных скоропалительно отправили в Самарканд и районы (Андижан, Наманган и т. д.).

Исключительно длительная и сложная процедура с пропиской, документами, отысканием комнаты, ордерами и т. д., длилась свыше 2 ½ недель. Я получил разрешение на прописку в качестве члена семьи — племянника — Кочеткова. На 16 ½ день после приезда — 9<sup>го</sup> декабря — я, наконец, прописался и стал ташкентским полноправным гражданином. Я считаю очень большим достижением тот факт, что мне удалось как-то закрепиться именно в Ташкенте; это — центр Ср<едней> Азии, как-никак — столица; здесь много писателей, академиков, музыкантов; отсюда и уехать можно будет гораздо скорее, в случае надобности.

Прожив некоторое время на ул. Урицкого, тратя всё время на «познание» ташкентских возможностей, на выяснение, кто здесь живет и чем занимается, на отыскание источников питания и добывание каких-то продуктов, объединяясь с Кочетковым для преодоления жизненных трудностей, я не имел никакой возможности поступить в школу, тем более не зная, что будет завтра.

Но к концу декабря всё как-то начало входить в колею; я переменил комнату и поселился в том же доме, что и Кочетков, на 1<sup>м</sup> этаже. Живу за ширмой; за койку с матрасом и подушкой, стулом, столом плачу 70 р. в месяц. Хозяева не мешают; я с ними уживаюсь. Живу я в самом «центре» Ташкента, в 2 ½ минутах ходьбы от Пушкинской улицы, где помещается Почтамт, Дом Академии Наук, Институт мировой литературы и т. д. Это самый лучший район Ташкента; во всяком случае самый культурный \*

В начале января я поступил в 9 ½ класс средней школы,

---

\* Одно слово вычеркнуто цензурой.— *Ред.*

имея за собой гандикап<sup>3</sup> в 1/2 года потерянного учебного времени. Параллельно с напряженной учебной работой было необходимо неуклонно разыскивать всё новые и новые пути к отысканию возможностей устройства с питанием, отыскивать каких-то знакомых, бегать по городу целый день.

Приехав в Ташкент, я немедленно наладил связь с Митькой, который находится в Ашхабаде (столица Туркменской ССР.) Он — студент Ашхабадского Педагогического института (факультет языка и литературы). Судя по письмам — он всё такой же, совершенно не изменился. Живет он с бабушкой — очень больной, и дядей (доцент-историк Насонов), которого должны скоро призвать в армию. Рассматривая все пути устройства, я прозондировал и ашхабадские возможности, но вскоре убедился, что было бы глупо и нецелесообразно туда ехать. Во-первых, к Митьке приехал его кузен Миллер, во-вторых, вследствие предстоящего призыва его дяди положение (материальное) их крайне неустойчивое и мне помогать они не смогут, в-третьих, в Ашхабад попасть — невероятно сложно и трудно, в-четвертых, Ашхабад — провинция по сравнению с Ташкентом и там мне не окажут такой помощи, как здесь, учитывая сколько здесь писателей и знаменитостей. В дальнейшем оказалось, что я абсолютно был прав.

Между тем, время шло и шло. Я продолжал учиться, потев над проклятой математикой; я сильно похудел, \* но не терял надежды на улучшение моего положения; деньги были — оставалось еще от чистопольских ликвидаций.

В начале февраля я пережил кошмарный период (как раз мне исполнилось 17 лет тогда). Производился набор

---

\* Одно слово вычеркнуто цензурой.— *Ред.*

в шк(олу) ФЗО; я уже прошел комиссию, которая признала меня годным; я был в холодном поту; я метался... но к счастью, всё миновало (пока что) и я занимался, как прежде, в школе.

В течение февраля я питался в столовой, куда прикрепили Кочеткова, на его пропуск — тарелка супа в день, и 400 г хлеба по карточке. Такое положение долго не могло продолжаться, и физиологическая потребность увеличения пищи вывела меня из «башни из слоновой кости», где я пребывал, на путь усиления изыскания новых путей устройства.

К этому времени, в Союзе Писателей открылась столовая — лучшая в Ташкенте. Почти каждый день конфеты, всегда суп и какое-нб. 2<sup>ое</sup>, часто — мясо бывает, хлеб дают 200 г. Лафа, одним словом! Я, конечно, не смел и мечтать (там записано 100 человек, сама столовая называется «спецстоловой», представляешь себе — алтарь какой-то!) Впрочем, «форсирование» дверей Союза Писателей началось с того, что мне удалось, при содействии Кочеткова, записаться в библиотеку Союза. Так что «пища духовная» была обеспечена...

Я пошел к Николаю Вирта (говорили, он может помочь). Он посоветовал мне поступить на работу грузчиком («молодой парень, как вы»... «работать, как мы когда-то») и сказал, что помочь ни в чем не может. Хорошо. Первое поражение, но носа я не повесил — не в моем стиле.

Тогда я уже был знаком с Ахматовой, которая действительно за меня ратовала. Она написала изумительную поэму<sup>4</sup>; пользуется необыкновенным почетом и уважением, часто выступает, вообще «возродилась». Я продолжал питаться супом. Я познакомился с одними артистами и некоторое время пользовался их хлебосольством. Ахматову всячески протезировал Ал. Толстой (и

протежирует). Она через него начала действовать, чтобы меня включили в число «счастливых» (посетителей столовой Писателей.) Это было невероятно, сказочно сложно. Наконец, к 11 ½ марта всё как-будто было в порядке и мне должны были выдать пропуск... Но тут директора Литфонда пришлось перевести на другую работу (уволнили) и всё пришлось начинать сызнова. Всё это тянулось невероятно долго. Сколько за меня людей говорило! Ахматова, Эфрос, Погодин, Улицкий, Шток... Наконец, соединенными усилиями пропуск в «алтарь» был получен. Только вчера меня внесли в «окончательные списки». С этим, по крайней мере, покончено. 1 ое и 2 ое обеспечены, столовая — за мной. Это огромное достижение. Сколько энергии на это потрачено, сколько хлопот!

Но я на этом не остановился. Я уж был «заведен» — я стал добиваться своего. Благодаря содействию Абрама Эфроса (оказалось, он меня знал, когда мне было 2 года), мне удалось протиснуться в «бытовую комиссию» Союза Писателей, куда входят только писатели и несколько жучков. И я вчера получил мыло и зубной порошок. И сулят повидло и даже ширпотреб. Но я остаюсь здоровым человеком и стараюсь добиться возможно большего. Ахматова и Липскеров говорили о моем тяжелом материальном положении с Пешковой — 1 ой женой Горького, которая воротит делами в Наркомпросе по вопросу о помощи эвакуированным детям. Попутно оказалось, что у меня есть одна — и на весь Советский Союз, впрочем — неблагожелательница, которая хотела воспротивиться оказанию мне помощи<sup>5</sup>. Вчера я был в Наркомпросе и говорил с Пешковой и говорил, каких у меня нет вещей (я взял с собой очень мало; так пришлось) и что остается 50 р. Увидим, что сделает она; что-нибудь да из этого выйдет, увидим.

Получается нелепо: были деньги, но ничего нельзя на них было приобрести, потому что все пути были закрыты. Теперь же и столовая и «спецснабжение» и быть может ботинки можно будет купить по этому спецснабжению... но денег нет, деньги иссякли! Я распродал всё, что мог, стараясь оставить необходимое. Но денег, денег нет. Кочетков бедствует. Слава богу, Ахматова иногда дает немного денег, Штоки 30 р. дали (милейшие люди; жаль, скоро уезжают), но на это не проживешь. А как досадно пропустить то же повидло по государственной цене, не пойти в столовую и т. д.! Как раз сейчас деньги стали нужны и необходимы. Лиля, по моей просьбе, продала в Москве некоторые мои вещи и прислала мне деньги, но когда это было! и они иссякли.

Муля, помоги мне, пришли денег. Понимаешь — дожить до лета, до осени, вот что мне надо! Летом многое выяснится. Я трачу мало; во всем себе отказываю; живу спартанцем. Но деньги необходимы. Я жму всех знакомых. Я продал всё, что мог. Но деньги необходимы, именно сейчас. Я успешно учусь; несмотря на потерянные 1/2 года, окончил успешно 3<sup>ю</sup> четверть без одной плохой отметки и отлично по четырем предметам: химии, истории, литературе и французскому. Основное — пережить как-то трудную пору.

Так, Муля, помоги, чем можешь. Наладил ли ты связь с Алей? Всегда твой

Мур

Всегда помню о тебе и Москве.

<На полях:>

P.S. Узнал твой адрес от Льва Канторовича; он меня узнал в столовой Союза: «Помните, я был во время тревоги у Гуревича». Он шлет тебе привет. Кирсанов сообщил ему твой адрес, когда приехал сюда.



3/IV.42.

Дорогие Лиля и Зина!

Только что получил Вашу вторую открытку. Очень Вам благодарен за все те усилия, которые Вы приложили, чтобы наилучшим образом продать костюм; все 800 р. полностью получил<sup>1</sup>. Очень правильно сделали, что машинтош оставили «про запас» — со временем продадите, как раз тогда мне деньги и будут нужны. Я Вам очень и очень благодарен за то, что бережете вещи — я отнюдь не потерял надежды еще с ними повидаться. Итак, коф-пальто вы отправили с Котом<sup>2</sup>. Если только Кот действительно находится в Ашхабаде, и никуда не уехал,— что установлю как можно скорее,— то тем или иным способом я это пальто попытаюсь получить. Когда потеплеет, соберитесь в Новодевичий — там ведь рукописи М. И., мои сапоги и пальто; — проверьте, всё ли в сохранности (Садовские, кв. 59.)<sup>3</sup>

Теперь о делах ташкентских. Как я и ожидал, положение мое в столице Узбекистана повернуло в хорошую сторону. Если раньше — до марта месяца приблизительно — я находился, так сказать, в «башне из слоновой кости», т. е. ни с кем не общался и ни о чем не хлопотал (по неохоте или природному «консерватизму»), то в течение месяца я кое-чего добился. Теперь меня знает весь Союз Писателей, теперь я добился пропуска в столовую литфонда, теперь я включен на «спец-снабжение»; я установил связь с «комиссией помощи эвакуированным детям» Наркомпроса УзССР, в частности с Е. П. Пешковой (1 й женой М. Горького), и первые плоды этого контакта уже дают себя знать — дали мыло, 2 пары носок и шьют много белья, да в июне будут искать подходящую работу, выдали 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> литра хлопко-

вого масла и еще обещают — и ни черта за это платить не приходится, вот что главное, да еще попытаюсь у них получить хоть немного денег. Относятся ко мне прекрасно. Скоро в Москву приедут одни мои добрые знакомые, которые Вам всё расскажут обо мне; возможно, передам с ними письмо.

В школе дела неплохи. Успешно окончил 3<sup>ю</sup> четверть, хотя было очень трудно; сдал Всевобуч (самое наитруднейшее для меня.)

В Ташкенте живет Ахматова, окруженная неустанными заботами и почитанием всех, и особенно А. Толстого, живут Погодин, Толстой, Уткин, Лавренев; приехал из Уфы Корнелий Зелинский, сейчас же поспешивший мне объяснить, что инцидент с книгой М. И был «недоразумением» и т. д.; я его великодушно «простил». Впрочем, он до того закончен и совершенен в своем роде, что мы с ним в наилучших отношениях — и ведь он очень умный человек <sup>4</sup>.

Итак, пока учусь; там — видно будет. Установил связь с Мулей. Узнал, что Вера из-за Миши уехала в Уржум <sup>5</sup>. Я думаю, летом очень многое станет ясным. Крепко обнимаю.

До свидания, всегда Ваш  
Мур

12

9/IV-42.

Дорогие Лиля и Зина!

Вчера получил Вашу открытку (3<sup>ю</sup> по счету). Насчет мыла не беспокойтесь — я им вполне обеспечен. Вообще-то говоря, конечно, я взял слишком мало вещей, но кое-как перебиваюсь тем, что взял и выгляжу пока, — в вещевом отношении, — довольно-таки свеженько. Одно

время думал просить Вас послать мне вещевую посылку, но потом сообразил, что она бы очень долго шла и имела бы много шансов пропасть. Так что буду ждать «оказии» — может, кто из знакомых соберется в командировку в Москву, и обратным рейсом привезет кое-что сюда.

Насчет книг, прислать бы было необходимым. Вот какие книги мне нужны: однотомники Чехова и Лермонтова (находятся на полке в маленькой комнате) и, главное, Грин — «Избранное» 1<sup>й</sup> том (1941 г. издания, голубая обложка с рисунком: белая чайка, дерево или что-то в этом роде.) Эта книга или на той же полке, или у Садовских на полке, где мои книги; если ни там, ни там не окажется — купите (стоит она пустяки) — когда я был в Москве, ее можно было свободно достать. Вот эти три книги и пришлите пожалуйста. Я очень много читаю; прочел всего Хэмингуэя, причем ни «Прощай оружие», ни «Фиеста» мне не понравились; напротив, «Иметь и не иметь» — первоклассное, первостепенное, подлинно-гуманное, замечательное произведение Хэмингуэя (в чем со мной согласна Лидия Бать — может быть, помните, она работала в «Интернациональной литературе» и была другом Али; она знакома с Мулей, проф. Дейч,— тоже Алин знакомый,— ее муж; это — симпатичные и культурные люди.) Прочел Достоевского — «Игрок» и «Вечный муж»; замечательно, несколько в гофмановском стиле. Кое-как одолел «Дым» Тургенева, в котором есть, все же, много блестящих штрихов, хотя роман как таковой не удался и распадается на отдельные куски. Интересуюсь Чернышевским, его взглядами и взаимоотношениями с писателями 60<sup>х</sup> гг. Сейчас принялся за Салтыкова-Щедрина; у него есть рассказы почти что чеховской марки. Кстати, Анна Ахматова, на мой вопрос,

любит ли она Щедрина, ответила мне, что да, любит,— как фантаста (!): «Прочтите его «Современную идиллию». Прочтем, прочтем. С большим удовольствием перечел «Контрапункт» О. Хаксли — преумная книга, и прескорбная.

Рисовать не рисую, а много пишу всякой всячины — и стихи, и «эссэ»; уже целый сборничек собрался<sup>1</sup>. Кстати, сигнализирую Вам прелюбопытное явление: определенное преобладание в 1942 м г.— в количественном отношении,— драматургического искусства над другими. Это нечто совершенно умопомрачительное: все, все пишут пьесы, причем пьесы абсолютно на все темы. Какая-то «песная» лихорадка. Пример — Симонов, с быстротой завидной пишущий одну пьесу за другой («История одной любви», «Парень из нашего города», «Русские люди»). Даже Толстого проняло — разразился «Иваном Грозным». Шток пишет одновременно две пьесы: «Осада Лейдена» и пьесу о Толстом, Липскеров, написал одноактную пьесу, Кочетков, прочитав какую-то книгу Макса Брода, быстро-быстро написал пьесу (историческую, конечно) и пытается ее всучить Мос(ковскому) Евр(ейскому) Театру через Михоэлса; беспрестанно чередуются премьеры; все пишут пьесы; всех привлекают авторские бенефисы. Еще недостает, чтобы я начал писать пьесы!

Частенько получаю вести от Митьки. Он продолжает учиться в Ашхабадском Пединституте: сдает зачеты, сессии и т. д. Часто бывает на концертах, увлекается Цвейгом, Блоком, Пушкиным, даже Некрасов понравился («несмотря на некоторую инфантильность»). Обожает Чайковского; у них живет его кузен (Митьки.) Судя по письмам, он все же такой, как и был прежде: не очень устойчивый, любящий блеснуть словом, но

умный и неунывающий. Приехал сюда из Уфы Корнелий Зелинский с женой, мамашей, belle-mère \* и племянником.

В Ташкенте уже было несколько очень жарких дней; что-то будет летом, воображаю!

Вчера был в театре — в 1 <sup>й</sup> раз в Ташкенте. Видел комедию Луи Вернейя (Louis Verneuil, французский драматург) — «Похищение Елены». Очень весело, остроумно, без претензий; не больно важное исполнение не испортило пьесы; публике очень понравилось. В общем, вечер не был потерян.

Учусь кое-как, с переборами — самостоятельное хозяйство и различные хлопоты и хождения не содействуют нормальному посещению занятий. Но пока всё идет хорошо. Математика одолевает, но не так уж.

Я думаю, что «сезон» для макинтоша уже наступил, так что давайте ликвидируем его; деньги — телеграфом (перевод обыкновенный ненадежен.)

Друзей и товарищей ни в школе, ни в другой среде нет. Школа — очень плохая, так что это понятно; «интеллигенты» же (молодежь) невероятно скучны и, главное, плоско и несамостоятельно мыслят... Так что «поле действий» мое крайне узко. Впрочем, не жалею ничуть и довольствуюсь компанией «взрослых высоколобых» и своей собственной.

Скоро в Москву должны приехать мои знакомые — И. Шток с женой. Они привезут к Вам письмо и расскажут обо мне и о жизни в Ташкенте.

Очень хорошо, что письма от Али — бодрые. Сообщите ее адрес.

Не забудьте о макинтоше и книгах. Крепко обнимаю.

Всегда Ваш Мур

---

\* Тещей (фр.).

25/V-42.

Дорогая Лиля!  
Милая Зина!

Давно от Вас ничего не получал — уж не болеете ли Вы? Впрочем, вспоминаю, что Вы писали, что очень заняты и устаете очень.

Я до сих пор еще не переехал на новую жилплощадь, но на днях перееду — по всей вероятности, на ул. Маркса, в дом Писателей<sup>1</sup>.

Замечательно сердечно ко мне относится здесь Ахматова — очень много мне помогает во всех отношениях. Она совсем не тот «сфинкс», которым ее любят изображать. Этот «сфинкс» — маска для назойливых и ненужных людей. А под маской — умный, трезвый, всесторонне культурный человек. И к тому же человек хороший, что весьма и весьма существенно<sup>2</sup>.

Помогает Л. Г. Бать (бывшая подруга Али, жена А. Дейча).

Живется трудно — материальные хлопоты. Но это временно — не вечно же. Послали ли деньги за макинтош?<sup>3</sup>

Читаю блестящих французских авторов Тэна и Бергсона (повезло, купил их за бесценок).

Чаше стал ходить в кино (видел «Антон Иванович сердится», «Морской Ястреб», «Маскарад»), в театры (видел «Похищение Елены» Л. Вернейля, «Собаку на сене» с Бабановой, «Историю одной любви» Симонова, оперетту «На берегу Амура»). Послали ли посылку, Грина?

Сдаю экзамены за 9<sup>й</sup> класс. Активно переписываюсь с Митькой и Валея (моей московской экс-Дульцинеей, премилой девушкой).

Буду держать Вас au courant \* всех моих важнейших событий — и вы тоже.

Обнимаю крепко.

Ваш Мур.

14

8/VI-42.

Дорогая Лиля! Милая Зина!

Сейчас очень жарко, так что мысли собрать трудно, а то и вы меня извините за несколько корявое письмо. Асфальт тает, солнце печет, и я пишу письмо — как всегда, в 4-х стенах комнаты, что сейчас себя оправдывает ввиду жары.

Это письмо Вам передаст Людмила Ильинична, жена А. Н. Толстого — премилый человек и которая мне во многом помогла в Ташкенте.

Основное, что мне следует написать в этом письме — это то, что я к осени собираюсь вернуться в Москву, при содействии Толстых — если, конечно, не будет чего-либо непредвиденного и не изменятся к худшему обстоятельства военного положения<sup>1</sup>.

По мере возможности, не вселяйте никого к себе — на первое время по возвращении из Узбекистана я предполагаю жить у Вас — если Вы, конечно, на это не возразите. Больше жить мне негде. В прошлом у нас были кое-какие трения, но я очень изменился за время пребывания в Ташкенте, многому научился; Вы меня не узнаете.

Исключительно важно Вам не терять связи с Л. И.— не пропустить момента, когда она уедет в Ташкент,

---

\* В курсе (фр.).

и в случае невозможности по тем или иным причинам возвращения в Москву передайте через нее для меня хоть один костюм.

Зимовать в Ташкенте мне страшно. Башмаки кончаются, одежды очень мало (1 пиджак) — а в Москве вещи, сапоги, нет такой дикой грязи; так или иначе я буду стремиться зимовать в Москве, где и работу легче найти (подходящую).

Приезжая в Ташкент, я ставил себе целью: окончить 9 й класс во что бы то ни стало. И я окончил его. И то хлеб: в Москве я вряд ли бы смог это сделать.

Пот струится по руке к перу ручки, грозя кляксой на бумагу. Хорошо, что Вы не в Ташкенте; этого климата Вы бы не вынесли. Очень многие москвичи получают от солнца *coup de soleil* \*; у многих болит голова, кровь носом идет. Я же выношу жару хорошо.

Пишите чаще и поподробнее о себе; если бы вы знали, как я беспокоюсь о Вас! Вы мне единственные родные люди на всем Союзе. В Москве у меня есть конкретные возможности работы.

Не теряйте связи с Л. И. Коту написал. Пальто получил. Обнимаю.

Всегда Ваш  
Мур

P.S. Очень важно, чтобы книги, которые в Новодевичьем, сохранились: там много таких, которые мне необходимо иметь, и которых, в случае утраты, нельзя будет возобновить. На всякий случай, вот список этих книг:

Marcel Proust (собр. сочин.)

Алиса в стране чудес (фр. яз.)

Алиса в зеркале (—«—)

---

\* Солнечный удар (фр.).



Е. Роë: Histoires Extraordinaires \*.

Но я думаю, что там с ними ничего не делается: вряд ли будут продавать, например. Это не такие люди.

М.

15

18/VI-42.

Дорогая Лиля!  
Милая Зина!

Недавно (вчера) получил от Вас открытку и был весьма опечален тем, что Вы хвораете, и нет лекарств.

Мне кажется, что все мы как-то воспрянули духом при получении известия о заключении договора с Великобританией и соглашения с США. Я, по крайней мере, исключительно рад этим обстоятельствам, очень и очень благоприятным для всех нас.

Была ли у Вас Людмила Ильинична или секретарша А<лексея> Н<иколаевича>? Вполне возможно, что Л. И. не пришла или не придет сама, будет занятой очень, особенно в Москве, разными делами — и своими, и мужа, что немало.

Я многократно уже думал послать Вам кое-что из продовольствия отсюда. Но посылки не принимают вообще никуда. «Оказий» (надежных; ненадежные — чорт с ними) было всего две: Штоки и Толстые. Но когда уезжали Штоки, именно в этот момент я находился в исключительно безденежном положении и ничего не мог купить (кг кишмиша — изюма — 100 р.; риса — 80) — и то приходилось каждый день занимать. А Толстые улетели самолетом, где всякий лишний груз во-

---

\* Необыкновенные рассказы (фр.).

спрещен. Так что пока ничего не вышло. Но всё же надеюсь, что выйдем.

Митька поступил в МГУ и переехал в общежитие; о здоровье Е. А. ничего не знаю, ибо он никогда не пишет о своей семье и очень не любит ее. О Коте Митька пишет, что тот «питается преимущественно супами» — т. е. то же самое точно, что и я.

Теперь насчет вещей. Уезжая в Ташкент, я оставил в Ново-Девичьем сапоги черные, кожаные. Что касается пальто (лохматое, плюшевое, с поясом и шелковой подкладкой, цвет — коричнево-светлый), то, если оно не у Вас, то — в Ново-Девичьем; оно там было. Кроме этого и моей и маминой библиотеки ничего там нет.

Сейчас я занимаюсь математикой, читаю А. Франса, Горького, Шекспира. 9<sup>й</sup> класс успешно окончил (впрочем, который раз я Вам это сообщаю!)

Живу крайне скучно; впрочем, как и всегда это было. Всех съедают москиты, а меня не трогают: мало крови, что ли?

Очень страдал от желез на шее — вспухли железы, и все говорят, что я похудел. Был жар, но всё прошло.

Прочел превосходную «Золотую цепь» А. Грина — вообще, замечательный писатель.

Здесь — Зелинский, Тагеры; скоро будет исполняться 7<sup>ая</sup> симфония Д. Д. Шостаковича; послушаем, на что это похоже?

Очень много ленинградцев, всегда спрашивающих, не ленинградец ли я. Но я — патриот Москвы.

Предлагали играть в кино и театрах (совершенно серьезно), но у меня почему-то какая-то aversion\* к этому делу.

---

\* Отвращение (фр.).

Досконально изучаю писательский мир — дело нетрудное и довольно интересное для материалов какой-нибудь будущей книги.

Пишу стихи — отдаю дань годам и традиции.

Никаких вещевых посылок не посылайте — не надо, не дойдут, да и я надеюсь приехать.

Погода стоит парижская — серая, дожди.

Крепко обнимаю; до свидания

Ваш Мур

16

21/VII-42

Дорогая Лиля!

Вы, наверное, очень испугались, получивши мои три волнующие и непонятные телеграммы<sup>1</sup>. Сообщаю, что побудило меня их отправить.

Никому ничего не сообщайте. Дело вот в чем.

В течение июня месяца я находился в почти-абсолютно голодном состоянии. Никто серьезно мне не помогал. Мне было очень тяжело. Воля не выдержала; я продал несколько хозяйкиных вещей — рублей на 800 — тайно от нее, конечно.

В начале июля, случайно, хозяйка заметила пропажи.— Заявление в милицию, повестка, арест, 28 часов под стражей с уголовниками; допрос, признание. Признание-то меня и спасло: теперь «читайте в оба».

По совету следователя, хорошо ко мне отнесшегося, я имею все шансы «дешево» отделаться, если только я выплачу хозяйке то, что она потребует. Дело тогда, возможно, и не передадут вовсе в суд, а даже если и передадут, то мне будет очень легкий приговор условно (т. е. если в течение указанного срока я ничем не прови-

нюю, то приговор снимается; всё это время я — на свободе.) Основное — уплатить, и тогда ничего мне не будет. И в документах *ничего* не будет (что весьма и весьма существенно.)

Я дал обязательство хозяйке уплатить ей в течение 4 месяцев 3000 р. Конечно, я не на 3000 продал, но продавал-то я в скуппункте, и за эти деньги она ничего не купит (из вещей; она так рассуждает.) Торговаться — нельзя; всё равно суд постановил бы выплату той суммы, которую назначила бы хозяйка.

Итак, следователь совершенно ясно мне сказал, что дело это не будет иметь никаких последствий, если только я выплачу сумму, которую я обязался выплатить. Вы понимаете, обязательством я купил свободу; теперь это обязательство надо выполнить.

Я уже зондировал ташкентские ресурсы; они равны нулю. Ахматова сидит без денег, другие знакомые — также, да и я всем рассказывать о случившемся отнюдь не намерен; это мне только может повредить. К Толстым также нельзя обращаться — это бы их отпугнуло от меня, а ведь они еще мне пригодятся. Оттого им — ни слова.

Единственный выход — продать библиотеку, всю, и поскорее (основное — *начать* выплату денег.)

Итак, все дело в уплате. Выплачу — и всё будет хорошо: окончу 10 <sup>й</sup> класс, и в Москву поеду, и в ВУЗ поступлю. Не выплачу — пойду в тюрьму и всё будет дьявольски и надолго заторможено, и я буду человеком с тяжелым гандикапом.

Вот практическая сторона de l'affaire \*; теперь — моральная.

Это совсем не просто подлый и бесчестный поступок. То-есть, именно он таков и есть, взятый изолированно,

---

\* Дѣла (фр.).

но если знать меня и все «мои обстоятельства» (как писалось в старину), то дело выйдет посложнее.

Я всё постигаю на собственном опыте, на собственной шкуре,— все истины.

До Ташкента я, фактически, не жил — в смысле опыта жизни,— а лишь *переживал*: ощущения приятные и неприятные, восприятия красоты и уродства, эстетически перерабатываемые воображением. Но *непосредственно* я с жизнью не сталкивался, *не принимал в ней участия*. Теперь же я «учусь азбуке», потому что самое простое для меня — самое трудное, самое сложное.

В Ташкенте я научился двум вещам — и навсегда: трезвости и честности. Когда мне было очень тяжело здесь, я начал пить. Перехватил через край, почувствовал презрение и отвращение к тому, что я мог дойти до преувеличения — и раз-навсегда отучился пить (писатели *все* пьют, но я теперь неязвим.) Но, как видите, чтобы понять ту простую истину, что пьяный — противен и мерзок (применимо ко мне) — мне пришлось не поверить этой истине *на-слово*, как аксиоме, а *доказать* ее — как теорему. Зато теперь я иммунизирован.

Так же и в отношении честности. Чтобы понять, что «не бери чужого» — не пустая глупость, не формула без смысла — мне пришлось эту теорему доказать от противного — т. е. убедиться в невозможности отрицания этой истины. Конечно, делал я всё это отнюдь не «специально» — но в ходе вещей выяснилась вся внутренняя подноготная.

Так я постиг нравственность. Лучше сейчас, чем позже. Зато я теперь и трезв, и честен. Кто знает, если бы всё это не произошло, то во мне еще бы пребывала «потенциальная безнравственность», тогда как теперь я просто знаю на опыте, что когда слишком много выпьешь, становишься похожим на скота, а когда украдешь, совершишь бесчестный поступок, то будешь дико мучиться ожиданием раскрытия твоего проступка, да плюс наказание и возможность испорченной жизни — не

говоря уж о том, что *ты* сказал бы, если у *тебя* что-либо украли: было бы тебе приятно, и щадил ли бы ты провинившегося? Всё это я понял теперь.

Итак, есть возможность не испортить себе будущего (а как это необычайно важно!); есть возможность не вернуться вновь в этот кошмарный уголовный мир, в котором я пробыл 28 часов; есть возможность всё загладить и ничего не испортить; есть возможность спокойно учиться, работать, идти вперед. Эта возможность — уплата.

Всё дело в уплате. «Чем скорее, тем лучше, может, и дело прекратим». Пока никто ничего не знает. Заплачу ей — и всё будет похоронено. Это страшно важно и действительно так. А не уплачу — жизнь будет ужасно искалечена, а ведь живешь-то всего один раз.

Сделайте всё возможное. Я уверен, что Вы меня понимаете, понимаете, что мне действительно надо уплатить и жить дальше. Я не умаляю своей вины, но считаю, что надо жить. А не уплачу — жить не буду.

Адрес: Ташкент Главпочтамт до востребования  
Эфрон Г. С.

Учтите сроки. Платить ей надо по 500 р.

Обнимаю. Ваш Мур

P.S. Из Ашхабада МГУ уезжает в Свердловск; значит — и Кот. Виделся с Митькой — 2 часа на станции; он был в Ташкенте проездом.

17

7/VIII-42.

Дорогая Лиля!

Получил Ваше письмо, переданное Л<юдмилой> И<льиничной>, 200 р. (спасибо! они мне здорово пригодятся) и телеграмму.

Я прекрасно понимаю, что сейчас мне ехать в Москву —

нецелесообразно. Я не такой глупый, чтобы настаивать на своем, видя, что положение вещей опровергает мое упорство. Правда, Л. И.— очень милая?

Живу очень странно, подвергаясь ветрам, ударам, влияниям и всяческой видоизменяющей работе как изнутри, так и снаружи. Страшно жарко. Живу в душевной каморке без окна; входя в нее — обливаешься потом. Да еще иногда кто-нибудь одолжит плитку для «готовки» — так становится совсем, как в кузнице Вулкана. Это — внешние, наружные влияния. Часто чувствую себя плохо, особенно утром. Трудно подняться с жестчайшей кровати, и ноги как тряпки. Трудно устроиться со стиркой; мне, шеголю, очень тяжело ходить в грязных брюках.

Живу в доме писателей; шапочно знаком со всеми; хотя ко мне относятся хорошо (одинок, умерла мать и т. д.), но всех смущает моя независимость, вежливость. Понимаете, все знают, как мне тяжело и трудно, видят как я хожу в развалившихся ботинках, но при этом вид у меня такой, как-будто я только что оделся во всё новое.

Ожидают смущения, когда я выношу тяжелейшее ведро, в пижаме и калошах, но удивляются невозмутимости и все-таки смотрят как на дикобраза (я смеюсь: на «перекультуренного дикобраза»).

Исключительно тяжело одному — а ведь я совсем один. Все-таки я слишком рано был брошен в море одиночества. Ведь в Ташкенте я ни с кем не сблизился. Очень много людей неплохо ко мне относятся, знакомых тоже много, 3—4 человека конкретно мне помогли и еще помогут, но близких, родных по духу — никого. Так хочется кого-нибудь полюбить, что-то делать ради кого-нибудь, кого-то уважать, даже чем-нибудь просто заинтересоваться — а нечем. Все какие-то чрезвычайно понятные, чрезвычайно пресные люди. Могу похвастаться, что литературную среду, всю сверху донизу я теперь очень хорошо знаю.

Хозяйке я еще не начал выплачивать. Впрочем, пока что настроена она довольно мирно. Я буду платить ей по 300—500 р., не меньше (мы так условились). Но пока не мог. Часто бываю в милиции; пока — никаких изменений. Самое главное — начать платить; и тогда хозяйка уж не слишком будет смотреть на сроки — раз уже начал. Оттого, как только сможете прислать рублей 500 — пришлите, именно, чтобы *начать*; это очень важно и в глазах следствия и милиции — смочь сказать: «Я уже начал ей выплачивать». А то ведь пока что я этого сказать не могу.

Живу тихо. Изредка хожу к Тагерам и Лидии Григорьевне. Очень много читаю («Интернациональная литература» №№ 11—12 1941 г., 1—2 и 3—5 1942 г.; очень советую прочесть; Зола, Чехова и, конечно, любимого Маллармэ и компанию (Бодлер, Верлэн, Валери, Готье).

На днях, возможно, удастся оформиться на постоянную плакатно-халтурную работу (на дому)<sup>1</sup>. Учиться уж в этом году не придется — если зарабатывать деньги, то всерьез, не теряя времени. Впрочем, увижу, какая работа, как и когда платят. Выдали свидетельство об окончании 9 м классов. Да, жалко будет не кончить 10 й класс в 42 м—43 м гг., но нечего делать — деньги на жизнь нужны, да и остался всего-то только один класс.

Между прочим, мне всё более и более кажется, что меня должны скоро взять в армию, даже еще в этом году. Никаких данных нет, но просто так кажется.

Все-таки кое-какое снабжение я здесь имею: столовую (2 обеда; обед состоит из супа, второго (пюре или лапша) и кофе или компота (1 чашка). Суп — капустный (борщ). В распределителе можно получить (в месяц, приблизительно): масло хлопковое 400 г, рис 500 г, вермишель 1 кг 200, сушеная дыня 250 г, чай, кофе. Но на это, конечно, нужны деньги.



Скоро думаю пойти в лечебницу — чтобы осмотрел врач; тогда Вам напишу результат. Не очень-то верю этим врачам из лечебниц, но увидим.

Очень красив, оригинален Старый Город. Туда попадаешь на трамвае. Какие-то древние кузницы, старики, базары, слепые дома из глины, зной, мечети и поверх всего этого спокойное синее небо.

Я живу в центре города, у Красной Площади со статуей Ленина, у самого здания СНК. Минутах в 15 ходьбы — Союз Писателей и столовая, 5 минут от книжного и букинистического магазинов; почти всё — под боком.

Где сейчас Муля: в Москве или в Куйбышеве? Я ему отправил телеграмму и письмо и не знаю, где он. Ему можете всё сообщить, но только ему.

Пора кончать. Не забывайте о моем несчастном положении; я, со своей стороны, буду Вас извещать обо всех событиях моей жизни. Обнимаю. Привет Муле и Зине.

Всегда Ваш Мур.

P.S. Митька прибыл в Свердловск.

18

17/VIII-42.

Дорогая Аля!

Я так рад, что, наконец, узнал твой истинный адрес и могу теперь тебе писать! Я очень страдал от разрыва, который наступил после войны в нашей переписке. Теперь мы, надеюсь, восстановим временно потерянную связь; впрочем я уже тебе послал одно письмо с подробностями о маминой смерти<sup>1</sup> и получил твое письмо ко мне, пересланное Мулей.

Мамины рукописи — в Москве, бусы, браслеты и пр., — так же. Все рукописи собраны в один сундук, который

находится у неких Садовских (быть может, ты слышала эту фамилию — Борис Садовский); они живут в б. Новодевичьем монастыре, в бывшем склепе; там рукописи и книги будут в сохранности. Браслеты и пр.— у Лили. Кофточка — проданы (по желанию мамы, я всё ликвидировал в Чистополе, чтобы иметь возможность жить на первое время.)

Лиля — в Москве и продолжает заниматься своими уроками художественного чтения — штука крайне относительная в отношении каких-либо возможно установленных правил и законов. Мы с Лилей довольно часто переписываемся. Она — очень сердечный, настоящий человек. Но слишком властна и взбалмошна, да и не бог весть как умна. Мулю я ощущаю гораздо больше как неотъемлемого составного члена нашей семьи. Я убедился на деле, что он — просто прекрасный человек, всегда готовый помочь делом и словом.

В этом году, несмотря на многочисленные трудности, которые наличествуют и еще предстоят, я попытаюсь все-таки учиться и в 43 м окончить последний, 10 5 класс. Бесспорно, всякие планы нелепо сейчас делать, в такое время — могут мобилизовать в армию и мало ли что еще. Но я, подобно бальзаковским героям, упорно цепляюсь за образование; ведь надо же иметь хоть среднее. Быть может, впоследствии, такое мое рвение и оправдается. Впрочем, окончил я 9 5 класс не особенно блестяще: посредственно по алгебре, геометрии и тригонометрии... географии (взъелся учитель — за злоязычие); хорошо — по узбекскому, биологии, физике (явно — по недоразумению, ибо заслужил о<чень> пл<охо> в квадрате), отлично — по французскому (ah mais! \*), химии (химичка симпатизировала), истории и литературе, черчению и поведению. Но, учитывая, что я потерял полгода, что всякие

---

\* Неужели! (фр.)

прочие, материальные и иные трудности, мешали учиться, я склонен не только отнести окончание 9 <sup>го</sup> кл. в актив, но и при случае прихвастнуть. Кстати сказать, ничего скучнее школы я не знаю, и долго боролся: работать или учиться? Но взбираться по общественной лестнице легче при десятилетке.

Как это ни странно, но в Ташкенте я побывал в театрах больше, нежели за всё время моего пребывания в Москве<sup>2</sup>. Видел несколько постановок довольно дрянненького местного Русского Драмтеатра им. Горького: «Похищение Елены» Луи Вернейя, «История одной любви» К. Симонова, «Тот, кого искали» Раскина и Слободского. В театре Революции, который находится сейчас здесь, видел «Собаку на сене» с Бабановой... но чуть не заснул. Даже курьёзно — в театре меня неуклонно, эдак к акту третьему, начинает клонить ко сну. Происходит это оттого, что я всегда заранее знаю или предугадываю конец, развязку, а игра актеров не компенсирует недостаток динамики действия. Всё зависит от культуры исполнения, от актерского мастерства. Вот, например, два последних спектакля, которые я видел — «Нора» Ибсена и «Валенсианскую Вдову» Лопе-де-Вега — уже стоят высоко: тщательно отделаны, прекрасные декорации и опытные актеры; в итоге — удачные спектакли, приятно смотреть. (Театр им. Ленинского Комсомола, под руков. Берсенева и Гиацинтовой.) Во «вдове» Гиацинтова превосходна. Старовата, но с 11 ряда кажется вполне-вполне. А Берсенев всегда очень хорош — прекрасная дикция, умение себя держать, и вкус, вкус — а это часто забывают.

Впрочем, предпочитаю кино. Наше кино за последнее время очень сильно поднялось. Замечательны такие фильмы как «Маскарад» (по Лермонтову), «Оборона Царицына», «Антон Иванович сердится»<sup>3</sup>; все эти картины опять-таки превосходны своей высокой культурой,

тщательностью отделки: нет «пробелов» и «затычек», всё полноценно. Мне предлагали сниматься в кино — мол, «такая наружность», но я предпочел «давай не будем», ибо я отнюдь не актер по призванию и что-то храню пуританское в моем отношении к профессии актера: «а все-таки каботэн»<sup>4</sup>. Но кино — интереснейшая арена деятельности и возможно, что я пойду по линии кинодраматургии. Правда, там слишком много «жучков» и халтурщиков, но эти экземпляры встречаются всюду. Но только, если уж думать о вузе, то я отнюдь не вижу себя студентом какого-нибудь фил- или лит-фака МГУ или что-либо в этом роде. Да, я хочу быть писателем, но не считаю необходимым запрягаться для этого с самой молодости — уж как-то мрачно видеть, что будешь заниматься только литературой. И скучно. И будешь каким-то плёвым научным работником, копящим над монографиями. Лучше притти в литературу совсем неожиданно, ошеломить,— а не терпеливо плестись литературной клячей.

Теперь я переехал в общежитие писателей. Вообще, с 39<sup>го</sup> по 42<sup>й</sup> год я нахожусь в постоянном и тесном общении с писательской средой. Я успел познакомиться с нравами этой среды, с ее специфическими особенностями, с ее кулисами, с ее языком, привычками, ужимками и гримасами. В будущем я смогу хорошо использовать богатейший материал, накопившийся у меня о наших писателях — материал для интереснейших персонажей романа. Да, я писателей знаю хорошо; передо мной они всегда представляли в их натуральном виде, ибо я всегда представлял для них человека слушающего, перед которым можно было болтать без удержу. Некоторые даже, учитывая мою оригинальность, прикидывались совсем другими, чем на самом деле. Очень любопытна в этом отношении Лидия Григорьевна,

с которой я близко познакомился в Ташкенте. Она рвется стать писателем, вместе с Дейчем, причем они друг дружку подталкивают. Они — очень ловкие люди; Лидия Григорьевна — совсем не писатель, а гораздо скорее делец, «устроитель»; она умеет использовать момент, прибегать к компромиссу, удачно ретироваться и т. д. И всё же она всегда мне говорит, что ложь для нее — хуже всего, что она — откровеннейший человек. Она знает силу моих «срывательных» сарказмов, знает, насколько я зорек и беспощаден ко всяческим «делишкам» в литературе, ко всяческой мелкой стратегии — и она настолько отдает себе отчет в этом, настолько меня уважает, что наивно пытается себя изобразить как имеющей, так же как и я, все эти качества — мол, отличаюсь в этом от других. А на деле она и Дейч, при всей их позиции «мы-то культурнее всех» совсем не выделяются из общей среды. Вне этого — они довольно милые люди, и о тебе помнят, и кажется Л. Г. тебе напишет.

Надо сказать, что я ни с кем абсолютно не сблизился: ни в Москве, ни в Ташкенте. Понимаешь, есть люди, которые мне как-то помогают, жалея меня; есть старые знакомства, продлившиеся со смерти М. И. Есть знакомства, основанные на кое-каких культурных интересах — общий культурный уровень (более или менее, конечно). Я знаком с очень многими. Но дружбы нет ни с кем. Да, проблема общения. Проблема ли это, и разрешима ли она? Возможно, что я — очень требователен; дружба — настоящая — представляется мне как нечто очень интенсивное — заполненность моментов, ничего лишнего, всё — важно. Пока что я исключительно активно и интенсивно общаюсь... с самим собой. Я спорю, разговариваю, строю карточные домики и разрушаю их, морализирую — и всё это с самим собой. Я никогда еще не был

так одинок. Отсутствие М. И. ощущается крайне. Я вынужден, будучи слишком рано выброшенным в открытое море жизни, заботиться о себе наподобие матери: направлять, остерегать, обучать, советовать... Это тяжело и скучно. У меня окончательно оформилась нелюбовь к молодежи. У молодежи я увидел несколько очень отталкивающих черт: невежество, грубость, пренебрежение ко всему, что ни на есть вне своего «молодежного» круга и интересов. Молодежь просто уродлива. А «умудренные годами» — большей частью крайне пресны, выжаты словно лимоны. Я читаю, наблюдаю, жду. Вот и всё. А с людьми, с человеческими отношениями у меня прямо-таки не получается. Ведь ты знаешь, что я отнюдь не идеалист и скорее склонен преуменьшать людские качества и заслуги, нежели их преувеличивать. И все-таки обычная для меня история, это знакомство, какой-то период отношений, и постепенно замирание их — причем это всегда начинается с моей стороны: люди мне надоедают, ходить к ним становится пыткой, общего не оказывается ничего, и я вздыхаю свободно, освободившись еще от одного груза отношений, и вновь одинок — и вновь начинаю скучать. Да, с людьми у меня не получается. Мне никто не импонирует — всех видишь насквозь, и все не того-с. Пожалуй, я сблизился только с Толстыми, особенно с женой А. Н. Это женщина, которая много видела; живет она очень хорошо, обладает безупречным вкусом, и на фоне остальных выделяется; читает по-французски, удивительно хорошо усвоила манеру болтать о пустяках так, что выходит серьезно. И вместе с тем — энергичная, летает на самолете и т. д., даже умеет управлять автомоб<илем>. Ей лет 30—36. Но ты сама понимаешь, что эти отношения держатся только на том, что я для нее представляю интерес как сын М. И., которому она помогает из-за (закрут усов) личного его обаяния и культуры, а она — для

меня — как любопытный экземпляр *femme du monde* \* и ее дом и ее духи и т. п. Так — курьёзно и приятно. Но всё же это — скорее зрелище, чем отношения.

Зато я очень много и с пользой читаю. Я очень полюбил Достоевского, очень хорошо знаком с Чеховым (эти два писателя, да еще А. Грин — мои любимые из русских.) Прочел «Деньги» и «Западня» Э. Золя; очень здорово. В этих фразах очень много... «очень!» Анатолий Франс, кроме «Острова Пингвинов» и «Боги жаждут» не нравится — скучные, устаревшие рассуждения. Замечательен Жюль Ромэн (рассказы — «Приятель», «Доногу-Тонки», «Возрожденный городок», «Люди Доброй Воли».) Роллан устарел до чорта.

Теперь я очень хорошо знаком с творчеством Бодлера, Верлена, Маллармэ и Валери. Я знаю целые поэмы Маллармэ наизусть и считаю его первым, лучшим французским поэтом. Он гениален. Митька еще в Москве познакомил меня с творчеством Поля Валери и у нас теперь есть его книги: у меня сборник стихотворений (книга «Шарм») и книга статей («Взгляды на Современный Мир».)<sup>5</sup> Валери — совершенно исключительный ум, замечательный поэт, а какой у него язык!

Единственный человек, с которым я дружил — это Митька. В августе 41 <sup>го</sup> г. он эвакуировался в Ашхабад с дядькой-историком, бабушкой и Софой. Там дядька работал в Академии Наук, а Митька учился в пединституте, на факультете языка и литературы. Потом дядьку мобилизовали, а Митька, ушедши из местного Пединститута, перешел на факультет МГУ (классический факультет — греческ⟨ая⟩, латинск⟨ая⟩ лит⟨ература⟩ра). Он переселился в общежитие МГУ и уехал с МГУ в Свердловск. Мы с ним регулярно переписываемся. Проезжая через Ташкент (из Ашхабада

---

\* Светская женщина (*фр.*).

в Свердловск) поезд стоял 2 часа и мне удалось его встретить, и 2 часа мы с Митькой говорили на целую жизнь. И потом он укатил и долго махал платком. О Нине Николаевне и Доде он ничего не знает. В октябре 41 <sup>го</sup> г. виделся несколько раз с Кириллом Хенкиным и его мамашей.

Ну, пора кончать; совсем заболтался. Постараюсь часто писать, и ты тоже постарайся. Я всегда горжусь тобой, никогда не забываю о тебе; мы еще будем все вместе, это время настанет.

До свидания. Обнимаю крепко.

Твой брат Мур

19

7-IX-42.

Дорогая Аля!

Позавчера получил твое письмо от 11/VIII-42 — первое письмо непосредственно полученное от тебя мною в Узбекистане, не считая одного, пересланного Мулей. Это же мое письмо — 3 <sup>е</sup> по счету; я тебе написал 2 больших письма; дошли ли они?

Насчет смерти мамы Лиля и Муля решили сначала почему-то играть комедию и ничего тебе не сообщать, а писать, что мама — в «длительном литературном турне». И мне написали, чтобы я тебе не писал, что она умерла. Это было сделано из боязни причинить тебе страдания, учитывая, что тебе и так трудно, должно быть, живется, и чтобы этим сообщением не подрывать твоих сил<sup>1</sup>. Я с этой установкой согласен не был, ибо считаю — правда прежде всего, и что мы не имеем просто права скрывать от тебя смерть М. И. И решил тебе написать об этом, — но не знал точного твоего адреса. Когда же Муля мне написал твой адрес, то



оказалось, что тебе уже все известно. Насчет маминых рукописей, опять-таки повторяю, как в предыдущих письмах,— не беспокойся: они в Москве, в надежном месте и в сохранности.

О тебе я думаю очень часто; ты себе не можешь представить, насколько живо я пытаюсь себе представить, как ты живешь, твое самочувствие и внутренние переживания. Я ощущаю тебя совсем близко, как будто ты не так уж далека географически. И меня и тебя жизнь бросила кувырком, дабы испытать нас; с тобой это произошло после отъезда из Болшево<sup>2</sup>, со мной — после смерти мамы. Оттого, именно вследствие этой аналогии судеб, я так стал близок к тебе — близок потому, что одиночество меня, как и тебя, вдруг заволокло.

Мы бесспорно встретимся — для меня это ясно так же, как и для тебя. Насчет книги о маме я уже думал давно, и мы напишем ее вдвоем — написала же Эва Кюри про свою знаменитую мать<sup>3</sup>.

Несколько слов об Ахматовой. Она живет припеваючи, ее все холят, она окружена почитателями и почитательницами, официально опекается и пользуется всякими льготами. Подчас мне завидно — за маму. Она бы тоже могла быть в таком «ореоле людей», жить в пуховиках и болтать о пустяках. Я говорю: могла бы. Но она этого не сделала, ибо никогда не была «богиней», сфинксом, каким является Ахматова. Она не была способна вот так, просто, сидеть и слушать источаемый ртами мед и пить улыбки. Она была прежде всего человек — и человек страстный, неспособный на бездействие, бесстрастность, неспособный отмалчиваться, отсиживаться, отлеживаться, как это делает Ахматова. Марина Ивановна всегда хотела деятельности, работы, она была энергичным, боевым существом. Последние её стихотворения говорят — о смешное выражение, применяемо к ней! — о творчес-

ком росте. А последние военные стихи Ахматовой — просто слабы, последняя её поэма — «1913 год» — сюрреализм. Ахматова остановилась раз и навсегда на одной эпохе; она умерла — и умерла более глубоко, чем мама. И обожают-то её именно как реликвию, как курьёз.

Было время, когда она мне помогала; это время кончилось. Однажды она себя проявила мелочной, и эта мелочь испортила всё предыдущее; итак, мы квиты — никто ничего никому не должен. Она мне разонравилась, я — ей. Относительно Кочетковых, они мне тоже разонравились — оказались уж чересчур чеховскими персонажами, да еще сдобренные «подпольным человеком» Достоевского. Недаром мама говорила: «Кочетков — баба, безвольный человек». Со сфинксом и бабой покончено. Покончено также знакомство с семьей артистов; одно время я с ними тесно общался, ходил к ним, разговаривал... Но они оказались пресными, пошлыми, неспособными к самообновлению. И постепенно знакомство иссохлось, сжалось в комочек, взаимосимпатия уменьшилась, исчезла... Остались поклоны на улице и приглашения зайти и мои ответы «обязательно загляну». По такому же пути идут мои отношения с Лидой Бать и Дейчиком. Лида — исключительно эгоистична. Дейчик — открыто эгоистичен, чорт с ним, пусть, а Лидия Григорьевна обожает говорить о своем сердце и жалости к людям, и «как она всё понимает». Не нравится мне в ней её ум, столь трезвый и практический, что перестает быть умом, не нравятся фразы о её честности (особенно честности литературной), не нравится, как она говорит: «ах как хочется помочь такому-то, и ничего, ничего не можешь сделать!» — причем она неминуемо напоминает мне шаблонного лубочного франсовского попа, пьющего вино и ругающего грешников и т. д. Какое-то бессознательное лицемерие вошло в ее характер;

не люблю вечно хитрящих людей — и особенно, опять-таки, в литературе. Тем не менее часто к ней захожу: совсем одному быть все-таки невозможно, да и хоть на словах тобою кто-то интересуется; кроме того, она очень тепло вспоминает о тебе, и мне это очень приятно.

Я очень рад, что ты живешь неплохо; для меня это страшно важно — знать, что ты в целостности и сохранности, где-то работаешь, живешь более или менее нормально. Мне тогда кажется, что еще можно вернуть какую-то семью, воссоздать её когда-то... И так, бесспорно, будет.

Часто бываю у Толстых. Они очень милы и помогают лучше, существеннее всех. Очень симпатичен сын Толстого — Митя, студент Ленконсерватории. Законченный тип светской женщины представляет Людмила Ильинична: элегантна, энергична, надушена, автомобиль, прекрасный французский язык, изучает английский, листает альбомы Сезанна и умеет удивительно увлекательно говорить о страшно пустых вещах. К тому же у неё есть вкус, и она имеет возможность его проявить. Сам маэстро остроумен, груб, похож на танк и любит мясо. Совсем почти не пьет (зато Погодин!..) и совершенно справедливо травит слово «учеба». Дом Толстых столь оригинален, необычен и дышит совсем иным, чем общий «литфон» (о каламбуры!), что мне там всегда очень хорошо. Митя Толстой давно не видел Павлика и отзывался о нем отрицательно.

«Барнрн»<sup>4</sup> давно потерян, но не забыт. Храню билет метро «4 сентября» и чек на 20 от «Хоп-Лá» (конкурс на лучшую карикатуру.) Митька — в Свердловске; что-то не пишет; наверное устраивается. Он теперь будет жить в общежитии МГУ. Дядя Арсений Николаев<ич> мобилизован в армию; Софа и бабушка — в Ашхабаде, и Митя очень рад, что от них отвязался. Куда делись Нина и Дода — неизвестно. Нина Прокофьева — попрежнему в Москве.

В августе 41 <sup>го</sup> г. виделся с Кирой и его мамашей; потом потерял с ними связь; его, кажется, мобилизовали в армию.

Я поступил в 10 <sup>й</sup> класс, твердо решив во что бы то ни стало, каких бы трудностей это мне ни стоило, окончить десятилетку. Если не мобилизуют в армию досрочно, это мне удастся. Учиться очень трудно. Попрежнему скрипят все точные науки; отлично имею лишь по литературе, истории, узбекскому. Когда я отвечаю урок истории, учитель стоит, разинув рот, а потом спрашивает, каким дополнительным материалом я пользовался; а я только читал учебник. По физике моя хорошая отметка — результат ожесточенной зубрежки. Другие — 99% — имеют «пос» по литературе и говорят, что это — самый трудный предмет, а математика и т. п. им даются совсем легко. Чудеса!

Вероятно, скоро поеду в колхоз — в 1 <sup>й</sup> раз в жизни — собирать хлопок, вместе со школой (месяца на полтора). Этого мне совсем не хочется, но придется, все-таки.

Попрежнему, главенствующее мое чувство — скука и тоска по любви. И я никого не могу любить, и мне страшно недостает мамы и папы и тебя — и даже Мули, и даже Мити. Одиночество грызет и гложет меня, а скука прилежно ему помогает. Читаю почти всегда то же самое: «Интернациональная Литература», Чехов, Валери и Маллармэ; когда достаю — Достоевского. Обожаю Арагона — он чуть ли не мой самый любимый писатель. Обожаю также «Фальшивомонетчиков»<sup>5</sup> — это совершенно замечательный роман. Был бы в Москве, достал бы новые произведения Мориака, Маритэна и Моруа. Много занимаюсь — точные науки осиливаю лишь зубрежкой — но осиливаю.

Молодых друзей у меня просто нет (не долюбиваю молодежь вообще); девицами же увлекался, главным образом, лет в 14—15; тогда я на них засматривался, а сам

оставался незамечен, конечно. Теперь роли перевернулись — но девицы-то не те, прежние; куда делся вкус, такт, красота? А впрочем всё придет.

Давно бросил рисовать — не на чем, не чем. Но и это, в свое время, возобновится, и в этой области еще прозвучит мое слово.

Ну вот и «усё». Крепко целую и обнимаю. Пиши часто.  
Твой брат

Мур

г. Ташкент

20

18/IX-42.

Дорогая Аля!

Это — мое третье или четвертое по счету письмо к тебе; от тебя получил письмо и открытку.

Недавно захворал, но выздоровел. Скоро школа поедет в колхоз; я вряд ли поеду. Много учусь, много читаю. В Ташкенте начинает холодеть, хотя всё еще яркое солнце. Я незаметно для себя полюбил солнце и настроение связано с погодой.

Читаю «Путешествие на Край Ночи» в русском переводе<sup>1</sup>. Очень талантливо.

Живу совершенно без друзей, если не считать Бать и А. И., с которыми сохраняю связь, т. к. они практичные люди и иногда дают полезные советы. В самом деле, друзей как-то растерял со времени войны. Алеша и муж Геди (помнишь?) жили в гостинице, потом Алеша получил восьмимесячную командировку куда-то на Север; потом к нему ездила его жена Ириша, и он говорил о тебе всякие гадости<sup>2</sup>. Уехал также и другой Алеша<sup>3</sup> — болтун и хвастун, который раньше ходил с бородой и хвалился своими ратными подвигами. Некоторое время тому

назад получил известия о Вере большой, она живет там, где родился ее умерший муж и, кажется, припеваючи<sup>4</sup>. Вот и всё.

Митька — в Свердловске, но почему-то не пишет; наверное, заели университетские дела. Это — мой единственный друг. Он порвал с семьей, живет в общежитии МГУ. Дода и Нина как в воду канули, также и Сережа — никаких от них вестей, и даже не знаем, где они.

Жить скучно, хлопотно, суетно, нет ни настоящего дела, ни настоящих увлечений. По возрасту необходимо влюбиться или уж, по крайней мере, волочиться за кем-нибудь, но нет времени, сил и охоты, да и «объекты» все смахивают на личины с Сорочинской ярмарки.

Над столом на стене висит портрет Достоевского; он и Чехов — мои любимые русские писатели. Всех в классе обогнал, написав лучший диктант; вспоминается школа Майяра, где точно так же писал лучшие диктанты. Всё то же самое. И в математиках так же худ и бездарен, как это было восемь лет тому назад с арифметикой. Литература и История — вот единственные предметы, успешно мной овладеваемые. И «усё». И хватит.

Если я чем интересуюсь, так это историей Франции и её литературой. Если говорить о будущей специальности, то я буду специалист по французской литературе и истории XX в. К этому я чувствую наибольшие способности и склонности. А от всякой «пентюрной»<sup>5</sup> деятельности, кроме как от абсолютно самостоятельной и свободной, меня решительно воротит. Недавно слушал диски Л. Буайё и А. Гарá.

Наблюдение — все чересчур много болтают. Причем не легко и блестяще, а нудно, обстоятельно, скучно и ненужно. Долой болтовню. Интеллигенция сколь болтлива! Трусливы, болтливы (совсем как «гнусавы и косноязычны»!)

Тон минорен. Но ничего — пройдет. Ну, прощай,  
пиши, жду вестей.

Обнимаю. Твой брат      Мур

21

22/IX-42

Дорогая Лиля!

Приходила ли к Вам С. Ю. Радзинская с моим письмом?

Я надеюсь, что она выполнит свое обещание и привезет мне вещи, в которых я сильно нуждаюсь. Кстати, необходимы простыня, подушка и одеяло — у меня только одно одеяло.

Как обстоит дело с продажей библиотеки?¹ Дело в том, что я, благодаря срочной помощи, оказанной мне Мулей, выплатил хозяйке тысячу рублей; благодаря этому удалось ликвидировать судебное разбирательство и всю официальную часть дела похоронить. Но мне остается заплатить остающиеся две трети моего долга — иными словами две тысячи. Учтите, что мне удалось заплатить хозяйке 1000 рублей не только благодаря Мулиной помощи, но и путем постоянного и систематического вычитания известных сумм из тех исключительно скудных средств, отпускаемых мне Литфондом на пропитание. Так что я со своей стороны сделал, делаю и буду делать максимум для возможно скорого погашения долга. Но Вы понимаете, что «основным костяком» выплаты не могут быть те мизерные суммы, которые я отделяю от насущных средств; они только помогают уплате, округляют ее. Я и так голодаю, и болею, и лежал в больнице, и хожу с нарывами на руках и опухшей и наболевшей ногой: всё это следствие «урезываний».

Конечно — пеняй на себя, я знаю, но опять-таки, это не выход из положения, а всё время «выезжать» на Муле невозможно ни мне — по соображениям этическим (он и так мне очень и очень помог), ни ему — по соображениям материальным. Остается одно — продажа библиотеки, обширной и ценной, находящейся у Садовских. Надеюсь, что они не станут отрицать наличия у них книг Марины Ивановны. Всё это нужно сделать срочно, ибо хозяйка торопит, а ведь по моему обязательству, которое лежит у ней, к середине ноября *всё* должно быть выплачено. Кроме того — «в залоге» у нее лежат два моих единственных пальто.

Я надеюсь, что Вы не обидитесь несколько сухо-деловому тону этого письма, но тут уж необходимость хватает за горло. Все только и говорят о моей бледности и т. д. — а ведь никто не знает, что по крайней мере добрая половина каких-либо получаемых средств идет на уплату — ведь никому об этом говорить я не могу.

Вещи мои не продавайте; они мне еще пригодятся, и в случае доставки их в Ташкент я, возможно (если доставят всё, конечно) сам продам лишнее, оставя лишь необходимое.

Итак, еще раз, я настойчиво прошу Вас срочно ликвидировать библиотеку, находящуюся у Садовских — как единственное средство действительно помочь мне освободиться от этого постоянного кошмара выплаты; а я знаю, что Вы действительно хотите мне помочь.

Через Ташкент проезжал — в Свердловск — Кот, но я лежал в больнице и не мог с ним повидаться. Как Вера в Уржуме?

По-прежнему учусь в 10 м классе; надеюсь не уехать в колхоз, иначе совсем скапуюсь.

От Али уже получил письмо и открытку. Пишите и посылайте деньги на почтамт. Привет Зине и Нине. Обнимаю крепко.

Ваш Мур



7/Х-42.

Дорогая Аля!

С каким удовольствием я узнал, что ты, наконец, получила хоть одно мое письмо — от 17 августа! И так — тьфу-тьфу не сглазить — переписка наша налажена.

Пишу о смерти мамы. Умерла она в 1941 м. г., в г. Елабуге (ТАТАССР). Диагноз — «асфиксия от удушья». Умерла она в сенях домика, где мы жили. Последнее время она была в очень подавленном настроении, морально больна. Умерла она 31 го августа, а 30 го сентября, после некоторого пребывания в г. Чистополе (я жил у Н. Н. Асеева, а потом в детдоме Литфонда) я вернулся в Москву, где жил у Лили на Мерзляковском. В Москве жил месяц: 30 го октября укатил в Ташкент, где и живу по сей день.

В октябре 41 го года (или, вернее, не в октябре, а в августе) я видел Кирилла Хенкина и его мамашу. Кирилл занимался переводами по кино; мамаша похудела. Кирилл блестел костюмами и ботинками и производил фурор на ул. Горького. Курил папиросы «Кавказ». К своему дяде, В. Я. Хенкину, он относился отрицательно — тот тяготился их пребыванием у него, боялся за свое благополучие артиста-мещанина (собирал безделушки и картины.) С Кириллом встречался часто. Потом я уехал, и с тех пор ничего о нем не знаю. Слышал, что его мобилизовали в армию. Узнать можно у В. Я. Хенкина; только он, скот, не ответит. Пиши на Всесоюзно-Гастрольное Объединение, или на Радиокomiteeт (адреса не знаю.) Больше ничего о Кирилле и Елизавете Алексеевне не знаю. Их очень ошарашило известие об отъезде Сережи, особенно Ел<изавету> Алекс<еевну>.

Ты пишешь, что Лида Бать — очень *хороший* человек

(подчеркнуто тобой.) Можно сказать, что она человек добродушный, даже хороший. Но ведь этого очень, очень мало! А Дейчика она так же водит за ручку. Пишут они какую-то дрянь. Они люди благожелательные и симпатичные, но погрязли в «литературных делишках», утратили свой собственный голос (впрочем, существовал ли он когда-либо у них?), исшаблонились. Дейч острит, Лида морализует. И потом, каюсь, порядком я недолюбливаю слишком трезвых, практичных людей! Автор «Фальшивомонетчиков»<sup>1</sup> очень верно заметил: «Алогизм меня раздражает, но чрезмерная логика утомляет меня». Действительно, так же глупо ходить в опорках, сочиняя стихи à la Хлебников, как благоразумно объяснять все жизненные явления неизменным «дважды два — четыре». Вот этой-то скудной арифметикой подчас и отдаёт наша Лидия Григорьевна.

Ты пишешь о моем «самолюбании», о том, что я «ставлю себя выше всех». Я не спорю (я раньше был дикий спорщик; теперь же я никогда не спорю, удивляя тем самых пылких студентов и т. п.) Элементы этого, конечно, есть. Но если я, например, не имею друзей, то дело тут не во «мне самом» (что это за «я сам»?) а в объективных причинах — образовании, воспитании, вкусах и т. п. С Митькой же я дружу. Ты пишешь: «и насмешливая зоркость мѣшает простому и теплому подходу к человеку». Но если эта «зоркость» — органично, глубоко присуща всему моему существу? Неужели ломать себя прикажешь? И для чего? Чтобы было всё проще? Я считаю, что ломать себя нельзя и не надо: что надо, то произведет сама жизнь. Аналогию же с Каем нельзя признать вполне удачной: ведь Каю в глаз попал осколок волшебного стекла, и он всё видел в искаженном отражении. Мне же ничего в глаз, ни в какую другую область или часть тела или духа не попадало; я просто

вижу. Вот и всё. Я не хвастаю, но это походит на пособие по анатомии: человек как человек, с гладкой кожей и т. д. ... но что-то нажмешь — и видишь кишки, и сердце, и вены, и, как писал Чехов, «целый чиновничий бок с печенками и селезенками», или своего рода рентген. Ты пишешь, что я никого не люблю. А ты думаешь, мне это сладко, я от этого не страдаю? И всё же я не знаю, что лучше — нормальное состояние, когда видишь все детали, все мелочи, или любовь, которая опьяняет, возбуждает, застилает глаза. Вообще-то говоря, надо и того, и этого; чрезмерная однобокость тоже не к лицу. Ты пишешь, что я тебе напоминаю героя послевоенного американского романа. И в этом есть отчасти своя правда. Но я больше всего себя узнаю, и свои мысли, и всё, как это ни странно и ни противоестественно,— в герое повести Чехова «Скучная История»: в профессоре Николае Степановиче. Вернее, не так узнаю, как понимаю его, и каждое его слово вызывает во мне такое чувство, будто бы это я сам произношу эти слова и испытываю эти ощущения. Всё то же! Мы с профессором говорим и думаем одно и то же. Удивительный Чехов! Читаю «Дуэль». Какая вещь!

Я всегда возмущаюсь, когда вместо настоящего существования, со всей сложностью постигаемых — непостижимых! — явлений, мне подсовывают эрзац, суррогат. Всё готово, всё понятно, всё ясно. Нет, ничего не готово, ничего не понятно и ничего не ясно. Дважды-два-четыре? Хорошо. Согласен. Но,— но только в арифметике. А в жизни дважды два четыре никогда не было, нет и не будет. И это очень хорошо и утешительно.

С большим удовольствием, в первый раз в жизни, я прочел «Рассказы и стихотворения в прозе» Тургенева. Прелесть! Теперь считается шиком говорить, что Тургенев — вообще не писатель. Мило! Слов не хватает,

чтобы заклеить эту точку зрения. Например, «Клара Милич» — шедевр. Да, Тургенев часто на краю пошлости, слащавости. Но он умеет быть и умным и остроумным, он — свободен, он владеет чудным русским языком как никто — и он талантлив, он умеет писать, чорт возьми! Конечно, я предпочитаю Достоевского — масштабы шире, ум глубже. Достоевский недолюбливал Тургенева. Он имел на это право; но ни в коем случае какой-нибудь задрипанный горе-халтурщик Иван Петрович, и даже А. Толстой.

Насчет «потолка отношений». Это, конечно, штука идеальная, но, поверь мне, отдает утопией. Всё вянет — и отношения тоже (и особенно они.) А твой случай с женщиной — тут играют роль обстоятельства, заставившие «потолок отношений» повышаться всё выше и выше. Ведь люди же, и жить без разговоров — нельзя и *volens-nolens* \* до «потолка» так и не дойдешь, ибо «потолок» в данном случае равносильен полному одиночеству, а это — хуже всего. Ведь мы говорим о нормальных условиях

Алеша, по последним сведениям, живет недалеко от тебя; к нему ездила его жена, Ириша. Кстати, я часто ее в Москве встречал, и, о как она не походила на болшевскую Иришу! Чорта с два, цыганочка! Волосы она выкрасила в рыжий цвет, Алеша — воспоминание, ребенка куда-то сбывла с рук, флирты направо и налево. Часто мы с Митькой ее встречали в кафе-мороженом на Тверской, и всегда была она с ходячим манекеном для костюмов — и всегда с разным. Успех она имела, надо сказать, большой. Теперь она, кажется, в Перми.

В Москве мы с Митькой жили весело. Ходили в театр, в кино, в кафе, ни с кем не знали, много смеялись,

---

\* Волей-неволей (*лат.*).

вместе читали Валери, ходили друг к другу. Встречались у станции «Охотный ряд», в библиотеке на Столешникове (мы там дневали и ночевали.) Жили весело. Часто ссорились, но мирились — друг без друга было скучно невыносимо. И теперь мы сохнем и вянем без взаимной компании и пробавляемся перепиской, вспоминая кафэ «Артистик». Кстати, опиши мне наружность Павлика; мне кажется, что я его видел в Ташкенте. Не забудь.

Как всегда — с наслаждением читаю Чехова. Вчера был в военкомате, заполнил соответствующую анкету по всем графам; 7<sup>го</sup> — медкомиссия (годен, не годен), — это приписка к призывному участку. А весной или летом — призыв. Может — и раньше. Но, думаю, 10<sup>й</sup> класс окончить дадут.

Пора кончать. Обнимаю крепко. Основное — живем. Жду писем.

Твой Мур.

23

10/X-42.

Дорогая Аля!

Надеюсь, что теперь ты регулярно получаешь мои письма; это, по-моему, пятое мое письмо к тебе за время моей среднеазиатской жизни. «Мои», «по-моему», «мое», «моей» — и это всё в двух фразах. Н-да... Но я пишу в восемь вечера, и такой стиль извиняем — голова на плечах у меня лишь утром; я, несмотря на все мои «выверты», ночью способен только спать. Когда я это говорю, то мне не верят; это как-то мне не к лицу, но это — факт. Мое любимое время — «от 5 до 7» — и действительно, сумерки, начало вечера, «разрядка» после переполненного дня мне всегда милы. Утро — ясность в голове, способность работать, но настроение большей

частью кислее — именно из-за ясности. Середины дня как-то не замечаешь. В школе обычно не переношу больше четырех уроков — после четырех уроков перестаю вообще и слушать и понимать. В школе провожу уроки в горячке — кроме уроков литературы, истории и узбекского языка. Горячка — потому (кстати, здесь совершенно не к месту тире) что боюсь — как бы не спросили (всё, кроме вышеназванных предметов — т. н. «точные науки») и начинаю — сколь поздно! (что за славянский акцент!) — зубрить все эти злосчастные дисциплины. Начинает казаться, что недостаточно выучил, думаешь, «как бы пронесло!» и т. д. Тьфу-тьфу, но, большей частью мне очень везет. Так как я очень вежлив, лучше других говорю по-русски, имею вполне интеллигентный, даже внушительный вид, то преподавателям и в голову не приходит, что я ничего не понимаю в их дисциплинах, что у меня — в отношении «точных наук» — чудовищно лениво и плохо работает мысль — и потому они думают, когда я плохо отвечаю, что это — «случайно», «так» (не зная, что я учил-учил, и все-таки так и не «допонял») — и, следовательно, повышают оценку — что и требовалось доказать. Возможно, что если бы я слушал на уроках, мне бы меньше приходилось корпеть над книгами дома — но мне никогда не удается сконцентрировать мое внимание на излагаемом учителем. Неизбежно то, о чем рассказывает учитель ускользает из моего поля слуха — и я в лучшем случае обращаю внимание на самого учителя, на его манеру изложения, на его голос и жесты, на паузы. В большинстве случаев преподаватель стремится в некотором роде загипнотизировать своих слушателей — то ли своим голосом, то ли строгостью, то ли особой манерой «подавать» материал преподаватель стремится возможно полнее «протолкнуть» свой предмет в сознании слушателя, приковать внимание этого слушателя к предмету.

Делается это почти всегда очень примитивно, и именно то, что преподаватель полагает такими дешевыми трюками приковать меня к его рту меня коробит, и я его не слушаю. Меня коробят именно хорошие преподаватели, ибо они всегда актеры, а я очень не люблю актеров. И я предпочитаю просто строгого учителя — эдак лучше. А «авторитет», «шарм» преподавателя — почти всегда блёф. По алгебре, геометрии, тригонометрии, физике, химии и астрономии в 1<sup>й</sup> четверти у меня — пос. По литературе, французскому, истории и узбекскому — отл. Просидев четыре урока, меня начинает клонить ко сну. Я становлюсь вконец рассеян, глуп и туп и горе мне если меня в эти два последних урока спросят. Наконец, избежав все опасности, иззевавшись, я ухожу домой, безмерно счастливый, что учебный день окончился, а дома меня ожидает принесенный из столовой Союза Писателей обед. Мне тогда плевать на всё — я голоден, как волк, и даже то, что завтра — две математики, две физики и одна химия, мне глубоко безразлично. Я думаю об обеде и книге, которую буду читать. От школы до общезнания — три минуты ходьбы, и я бодро шагаю с портфелем в руке, и даже иногда насвистываю. Быть может, оттого-то к сумеркам у меня и во внешкольное время хорошее настроение — по ассоциации. Впрочем, и раньше так было. А ночью — спать. Я помню, еще в 1939 м г. я с мамой пошел в какой-то ресторан, где танцевали, и подали какой-то очень вкусный обед, и я пил вино, и глазел, и было скучно... Возможно, я был слишком мал, и не танцевал, к тому же. Позор и стыд! Танцевать я так и не научился — потому что не охота как-то. И никто не верит, что я не умею танцевать. «Как, вы!..» Мне кажется, что танцы сейчас — лишь способ знакомства с девицей, способ убить время, потому что с этой девицей не о чем говорить; потом, после нескольких таких танце-

важных сеансов, авантюра вступает в новую — любовную — фазу. И вправду — всегда танцы лишь средство к достижению цели. Но они бессмысленны, в таком случае, ибо неужели же я не смогу покорить девушку, которая мне понравится, не тратя время и не портя ботинок по звуку плохого джаза? А не смогу, так и не надо. Лет в 14—15, ох как я увлекался, чорт возьми. Теперь, раз это прошло, я могу сказать, что вопросы о женщинах, о любви и пр. занимали 99% моей жизни. А теперь они не занимают и 5%. Обычно я острою, что это — из-за недоедания, но тут дело не в недоедании, а в том, что в этой области мысленно, внутренне, морально вкусив и изведав всё, и много начитавшись, и много насмотревшись, я «познал, не вкусив», и «познав» — бросил, как это всегда бывает. Впрочем, всё еще предстоит, я молод, и былой пыл еще вернется, и я искренне надеюсь, что буду увлекаться, ибо скучно, скучно без увлечений, без идеалов, без любви — и без семьи.

Мои со-партнеры уехали в колхоз до начала ноября; меня же освободили по здоровью — из-за последствий рожистого воспаления, и я теперь отдыхаю, лечу зубы, усиленно читаю и плюю на математику. С величайшим удовольствием прочел рассказы и стихотворения в прозе Тургенева, «Матросскую Песнь» Мак-Орлана, стихи Мандельштама и Долматовского (между прочим Долматовский превосходный поэт), перечел Чехова, попытался читать Толстого (Ал<ексея> Ник<олаевича>) и Федина, но безуспешно — бросил. Сейчас читаю «Детство» П. Вайяна-Кутюрье; очень нравится (потому что похоже на Арагона, а я поклонник Арагона). Прочел также «Рыжика» Ж. Ренара (помнишь фильм?), потом сочинение Шеллера-Михайлова «Ртищев» (мрачно, 80-е годы!), «Мелкого Беса» Сологуба (тоже мрачно, затхло). Из русских прозаиков впереди всех идут Лермонтов,



Тургенев, Достоевский и Чехов. Не Пушкин, а Лермонтов — подлинный родоначальник русской прозы. У Тургенева — замечательный язык; он неподражаем. Достоевский — могуч и умен, как дьявол; Чехов же показал подлинного, обнаженного человека. Какие писатели! Они по крайней мере равны великим писателям Запада; Достоевский же, а отчасти и Чехов, и выше этих писателей. Бальзак тяжел и напичкан нелепым мировоззрением, Стендаль устарел со своим навязчивым антиклерикализмом (как и А. Франс), Гюго — не читаем сейчас, Флобер скатился в артистицизм, Зола назойлив со своими дегенератами. С другой стороны, и Тургенев слишком порой слащав, Достоевский нагромождает ужасы. Лишь Лермонтов абсолютно кристален («Герой нашего времени»), да Чехов. Всех я обругал, вот и рад, вот и критика.

Но я совсем заболтался, как старая баба.  
Обнимаю крепко. Твой Мур

P.S. Только что получил твое письмо от 20/IX-42. Газеты и журналы пришлю обязательно.

P.P.S. Сегодня сфотографировался; карточка будет готова через 20 д. тогда пришлю.

24

11/XI-42.

Дорогая Алечка!

Прости меня, что я так долго тебе не писал — но это объясняется тем, что с 17/X по 7/XI — т. е. в течение 3½ недель — я был в колхозе со школой на уборке хлопка. Мои успехи в этой области будучи весьма умеренными,

а здоровье к тому же пошатывалось, то меня отпустили раньше домой, чем других. Я шел 12 км. под проливным дождем, полями и проселочными дорогами, по колено в грязи, за арбой с вещами (уезжали еще три стахановца); на станции я, крихтя и ругаясь, перелезал через тормоза товарных вагонов, нагруженный своими вещами и ружьем одного преподавателя, и ружье мне мешало, и было 3 часа утра, и поезд в Ташкент дьявольски опаздывал, и никто не знал, на каком он будет пути, и... И я был весь промокший и хлюпал дырявыми башмаками по станционной черной грязи, и дождь лил и лил, не переставая, и в последнюю минуту пришлось перелезть под вагоном, так как поезд, конечно, приблизился по тому пути, по которому никто его не ожидал... Но я ввалился в вагон, даже удалось сесть, и на всё было наплевать, ибо теперь впереди были Ташкент, асфальт, баня и телефонные звонки. И приехал я как раз в разгар демонстрации, и всё было в порядке. Когда-нибудь я подробно опишу мое пребывание в колхозе и всё это мое путешествие.

Ташкентская погода испортилась; идет снег, слякоть, грязь, холод. Калоши протекают, нос тоже протекает, но всё это ничего и я не унываю. Кстати сказать, вообще никто не унывает, так что даже и никакой заслуги в этом унывании нет, ибо что же делать, как не унывать.

Давно не получал вестей от Митьки из Свердловска и это меня беспокоит — заболел ли он опасно, или просто учеба заела, не знаю; все-таки, он — мой единственный друг.

Муля мне регулярно помогает; он молодчина, настоящим друг и человек. Лиля тоже старается.

В этом году вряд ли много буду ходить в театр и на концерты — и далеко, и не в чем, а я с этим считаюсь — переться далеко ночью по грязи меня ничуть не привлекает. У нас театр им. Берсенева; надо будет посмотреть «Фронт»

Корнейчука. В кино хожу довольно часто; но звук, звук!

Вообще все интересы у меня волею судеб частенько стягиваются к гастрономии — надо есть, чорт возьми, ведь еще не пришло время универсальных пилюль. Ну, и надо окончить десятилетку, хотя это трудно очень — мобилизации на работы мешают, и математика тоже. Но постараюсь всё это осилить. Впрочем, вряд ли удастся окончить десятилетку, ибо скорее всего скоро возьмут меня в армию.

Ну а пока живу ничтоже сумняшеся; обожаю Чехова и Тургенева и вообще русских классиков; защищаю Маяковского, когда молодежь при мне его ругает (почему-то молодежь его не любит). А в общем, жить очень скучно одному. Никого не любишь, никто о тебе не заботится, и как ни старайся, ничем не можешь заинтересоваться и увлечься. И всё время приходится себя ломать, пересиливать, перекраивать на иной лад, и всё же, как Ванька-встанька, как ни финти — но возвращаешься в первоначальное положение, к первоначальному облику.

Всё время цитирую Бодлера — у него есть удивительные философские стихи (а есть и «ужасные» в смысле крови ведрами, скрежетаний и преувеличений — совсем во вкусе Средневековья).

Лидия Григорьевна тоже была на хлопке и собирается в Москву в командировку. Она — удивительно расчетливый человек; как говорится — «жмот»; я себе не представляю ее литературных талантов. Впрочем, она тебя любит и собирается написать. Собирается, собирается... Гораздо больше мне нравятся Толстые — он молодец, вершает судьбы, пишет прекрасные, смелые статьи, живет как хочет.

Ну-с, пора кончать. Все твои письма получаю, и рисунки получил; очень понравились — остроумные и, должно быть, верные. Пиши, Алечка. Крепко обнимаю.

Твой брат Мур.

P.S. Шлю фотографию, как обещал.

22/XI-42.

Дорогая Алечка!

Получил твое коротенькое поздравительное письмо; письмо с рисунками также получил; прибыло ли письмо с фотокарточкой?

Я всем сердцем с тобой во все дни твоего стоического существования; знай, что я всегда и во всем тебе сочувствую, всегда о тебе думаю и никогда тебя не забываю.

И когда мне бывает тяжело на душе и проклятый пессимизм заволакивает все надежды на будущее, то я себе говорю, что раз ты нашла в себе достаточно сил, чтобы превозмочь свои собственные мрачные настроения, то было бы недостойным для меня отдаться течению, опустить руки, опуститься.

Знай, что я абсолютно уверен лишь в одном — в том, что немцы будут разгромлены. И это — не пустые слова, не повторение бессмысленно заученной фразы; это — глубокая уверенность, исходящая из объективных данных: да, конец их близится, и близится неуклонно.

Как я изменился за всё это время! А ведь я был когда-то толстым и здоровым — теперь же очень похудел, стал очень бледным, очень нервным. Психическое состояние стало руководить физическим; и наоборот: если меня что-либо расстроило, то пропадает аппетит; если же болит живот, то хочется броситься в колодец (которого нет; есть только душ во дворе, а в душ ведь не бросишься!).

Увы, я постиг одно искусство, которое никому не рекомендую: это искусство самому себе портить настроение. Всё зависит от воли, от самого себя. Вся моя «внутренняя история дня» может изобразиться правильной ломаной линией: <рисунок в тексте>. То на душе

спокойно и безразлично, то вдруг самое незначительное слово, как капля какой-то кислоты, начинает всё разъедать, всё портить, всё отравлять — и тогда я совсем внизу ломаной линии. И ведь всё дело-то в том, что по-настоящему ничего не изменилось; условия такие же, и «внешняя причина», вызвавшая глубокое падение в пучину мрачности и чернейшей меланхолии, сама по себе не стоит выеденного яйца. Но ассоциации, вызываемые этой незначительнейшей «внешней причиной», и последовательно приводящие к такому мрачному состоянию, нанизываются совершенно произвольно, механически слишком привыкшим к этой работе мозгом, и мне приходится бороться с этим произвольным нанизыванием самыми «кустарными» средствами вроде внутренних возгласов: «Ничего!», «Бодришь», «Всё будет хорошо!», «К черту!». Каждое противоречие принимает размеры катастрофы, и мне беспрестанно приходится барахтаться в тине воспоминаний, в хаосе непонятых событий и явлений. Самое ужасное то, что я тотально, абсолютно одинок — во внутреннем отношении. Никто меня не может ни понять, ни, следовательно, как-то помочь. Приходится — о, сколь часто! — быть самому себе единственным судьей, выносить приговоры и даже отказывать в смягчающих обстоятельствах (честное слово!). Я борюсь со слишком частым извинением собственных слабостей (и опять-таки не знаю — слабостей или пороков?), но часто изнемогаю в борьбе, ибо нельзя всё самому правильно решить. Иногда я думаю, что то состояние, в котором я пребываю — первый шаг на пути к сумасшествию; пытаюсь «опроститься», но ничего не выходит, и оказывается, что простота — сложнейшая вещь, и самая недостижимая для меня.

Иногда мне помогает ирония, которая меня никогда не оставляет; чувство смешного во мне очень остро. Но

ирония часто распадается: стоит мне сказать себе: «а что здесь смешного», как я уж начинаю думать о том, что, может быть, здесь действительно ничего смешного не было, о том, что, может быть, смеяться совсем не следовало бы, учитывая, что ирония порождает в большинстве случаев крайнюю относительность в оценке явлений; «снижая», она не «возвышает» и нередко из-за этой иронии мне приходится страдать: вызванная произвольно, она «портит» явление, и начинаешь жалеть о его былой неприкосновенности, начинаешь сомневаться в своем праве иронизировать, начинаешь защищать это право — и опять получается «ломаная линия» и тут же надо отвечать по физике, и ты, конечно, этого ожидал, и надо было повторить, но ты не повторил именно потому что знал, что вызовут, но тебе было приятно сознавать, что ты не повторяешь, хотя вызвать должны, и смутно надеялся, что тот факт, что ты не повторяешь каким-то образом должен повлиять на предстоящее, и тебя не вызовут. Но не тут-то было...

Недавно (вчера) делал доклад в школе: «Г. Гейне и его творчество». Меня предупредили об этом докладе за 3 дня до даты выступления; до этого я в жизни не прочел ни строчки ни Гейне, ни о Гейне; книг его не было нигде. И все-таки... Ну, конечно, ты уже знаешь заранее: и все-таки я всех поразил эрудицией, цитатами и т. п., доклад удался на славу и все потом хвалили и разевали рты. Да, ты не ошиблась, так было, и это очень скучно. Не лучше бы, если бы я с треском провалился? Ведь все ожидали от меня нечто очень хорошее; это они и благополучно «заимели» (мерзкое словечко!). Допустим, я бы сделал безграмотный, корявый, куцый доклад. С одной стороны, моя репутация полетела бы к чорту, но с другой все были бы страшно удивлены — гораздо больше, чем от хорошего доклада (кстати, я уве-

рен, что в хорошем докладе слушатели ничего не поняли и не уловили; они просто слышали незнакомые фразы, имена и понятия, правильные ударения и звучную речь и невольно прониклись уважением к докладчику, благо ему 17 лет; если бы тот же доклад делал профессор, они сказали — обязательно! — «скучно», именно потому что «профессор» = «скучно», но выслушав мой доклад, они сказали «замечательно»; всё понятно теперь, и это-то ужасно.) Я уже на протяжении нескольких лет мечтаю о необъяснимой сумятице и вспоминаю в книге Честертонна «Человек, который был Четвергом» замечательное место, в котором метро, следовавшее со станции «Виктория Род» и, следовательно, долженствующее остановиться на ст. «Чэринг Кросс», остановилось совсем не на «Чэринг Кросс», а на какой-то совсем другой станции. А направление было именно на «Чэринг Кросс», и время прохождения то, которое надо, и все-таки, наконец-то, получилось не  $2 \times 2 = 4$ , а  $2 \times 2 = !$  Для меня это символ веры, в известной степени. Но как символ времени подобное уравнение, безусловно, не годится никуда.

Сейчас читаю «Путевые Картины» Гейне. Очень хорошо. Блок их очень ценил. «Мало ли что». Да, конечно. Но раз так говорят, то почему не повторить, с проникновенным видом. И вздохнуть: «Н-да, Блок...» А что «н-да, Блок...»? Ведь это ничего не значит. Как писал муж Ахматовой: «Дурно пахнут мертвые слова»<sup>1</sup> — и мертвые выражения.

Ну, пора кончать и «начинать день». Сегодня — воскресенье. На Красной Площади, куда выходит наш дом, упражняется военно-духовой оркестр. «Флон-флоны». Небо не знает, дождить ему или нет, и колеблется, а я не знаю, надевать ли галоши — а вдруг дождь пойдет? — или итти без галош — уж очень хорошо начищены ботинки (я придерживаюсь «Подземелий Ватикана»<sup>2</sup>, там

дядька героя Лафкадио говорит, что человека судят по башмакам). Сейчас пойду читать газету и «вестник» (посл(едние) известия). Потом пойду за хлебом, на почтайт, обменяю на базаре хлеб на картошку (и меня, конечно, надуют, и я, дурак, буду гордиться этим, как доказательством моей честности; на самом же деле, когда меня будут надувать, я буду думать, что делаю выгодное дело, а потом мне скажут, что я проштрафился, и так как признаться в растяпистости нелегко, то я и предпочту изобрести для собственного успокоения легендишку о честности. Но обмануть себя мне не удастся).

Пиши. Обнимаю крепко

Твой Мур

26

4/ХII-42.

Дорогая Аля!

Вчера получил твое письмо от 6.11-42. Ты пишешь, в связи с ожиданием получения моей фотокарточки, что «ужасно подурнела»... Какие пустяки! Разве человек «дурнеет»? Он может истощиться — но тогда он когда-нибудь и поправится; может постареть, но во-первых, разве это так уж «ужасно», а во-вторых он от этого не «дурнеет» — «дурнеет» он лишь тогда, когда внутренне преобразается в худшую сторону: допустим, алчность, скупость, хитрость — всё это уродует человека действительно. А в данном случае, с тобой, это не так, так что эти «ужасы», верь мне, и поправимы и изгладимы; будущее всё сумеет смыть. Самое трудное — исправлять внутренние повреждения — внешние, это — сущие пустяки, о них не стоит тужить; не в них суть.

Хорошо, что получила фотокарточки мамы и мою



с тобой. Еще бы, конечно помню, как мы стояли на вышке, под синим небом, у пляжа! И помню подъем, который вел в гостиницу, потом на дачи, и можно было пройти берегом; помню так же и бесконечный гул цикад, и как они, слепые, хлопались о прохожих. И наши прогулки помню, через горы. И Голю Лопато!

Впрочем, слишком впадать в слюнявые воспоминания не следует. Ох, если бы ты знала, как мне напортили эти самые воспоминания! Не знаю ничего более разъедающего и обезволивающего, чем они. Всё развивается, и нельзя останавливаться на одной точке; — это нелепо и наивно. Забывать тоже не следует; золотая середина в вопросе о воспоминаниях очень важна — необходимо как не превращаться в старуху, болтающую о кринолинах, Мишелях, белых ночах и тройках, так и в скучнейшего резонера-практика, бескрылого обывателя.

Ты спрашиваешь, осталось-ли на память что-нб. из маминых любимых вещей. Конечно, остались! Целая шкатулка в Москве — всякие бусы и т. д. Боюсь, что Лиля немного украсила меня в письмах к тебе чертами бездушного человека или что-либо в этом стиле. Но это отнюдь не так на самом деле, и я настолько любил маму, что, верь мне, никаких прав не превзошел в отношении обращения с ее наследством (пишу на случай, если такое предположение было заронено Лилей; ведь Лиля — очень взбалмошный человек, и ей могло показаться, что она имеет какие-то права в деле распоряжения рукописями и т. д.— хотя никто ничего не оспаривал. Ведь ты знаешь её, с её вывертами).

7<sup>го</sup> ноября я как раз возвратился из колхоза и шагнул среди парада домой — с матрасом, в кожаном пальто и в грязнейших ботинках. Меня чуть не задавили в трамвае, но все-таки я из него вылез и пришел домой в самый разгар парада, под звуки труб и барабанов.

В тот же день началась обычная суетня-беготня и всё вошло в колею.

Надо сказать, что начиная с сентября прошлого года вся моя жизнь почти что целиком поставлена под знаком огромного аппетита и прямым образом связана с желудком и его требованиями. Теперешнее мое существование занято на 90% добыванием пищи; большинство сил и энергии уходит на это, и голова забита заботами о питании. Это соответствует тому, что главной задачей для меня сейчас является, прежде всего, сохранение возможной доли здоровья и чисто-физическое продолжение существования. Все остальные проблемы отходят на второй план. Еще надо учесть то, что, во-1-е, я, в силу отсутствия времени и пособий, лишен возможности серьезно заниматься историей литературы — единственным, чем я когда-нб. смогу заняться, а, во-вторых, у меня нет никакой среды, никакого общения — я одинок абсолютно, и тем более приходится хоть физически восполнять физическую пустоту. Основное — жить и дожидаться победы над немцами. Потом всё будет сразу легче.

1943-й г., помимо его важнейших военно-международных грядущих решающих событий, важен для меня очень и очень: в 1943-м г. я окончу (надеюсь окончить) 10-й кл., и встанет вопрос об армии, университете, о том, где буду жить — в Ташкенте или в Москве. Это будет для меня переломный год — как 1941-й, когда умерла мама. 1942-й г. был для меня не богат внешними событиями: окончил 9-й кл., жил в Ташкенте, поступил в 10-й кл., был в колхозе, старался не заболеть и не голодать. Внутренне — мучало одиночество. Вот и вся недолга.

Уже смеркается. Пора кончать. Крепко обнимаю. Пиши.

Твой брат Мур

13/ХII-42.

Дорогая Аля!

Вчера получил твое письмо от 22/ХI-42. Большое тебе спасибо за нажим на Лию; он, так же как и Мулины настояния, возымел эффект — Лиля недавно прислала мне 500 р., что существенно помогло моему положению.

Ты пишешь, что сердисься на меня за то, что я «старательно миную в письмах все «неприятные» вопросы» и т. п. Это выходит у меня почти естественно — и беспокоить человека не хочется, да и так надоели трудности и неполадки материального характера, к ним, в сущности, так привык, что писать о них в письмах нет охоты; письма — «клапаны», но клапаны, все-таки, не для кухонных или стиральных испарений. Впрочем, прекрасно знаю, как тебе близки все мои дела, как тебе хочется в них участвовать и мне помогать. Обещаю обо всём тебя извещать, что бы со мною ни происходило.

Пишешь ты, что организовала новое производство — игрушечное. Не сомневаюсь, что у тебя это должно получаться вполне успешно — не даром ты «матерая художница», да и чисто-женский вкус, подкрепленный умением мидинеток<sup>1</sup> — не в обиду будь сказано — делать из ленточки шлейфы — способствует тебе в успехе работы.

Я свинья, что до сих пор не выслал тебе журналов, как обещал, но обязательно это сделаю завтра же — на этот раз «без обманства».

Пишет ли тебе Лидия Григорьевна? Она всё говорит, что напишет, но, по-моему, так и не сделает этого — слишком уж, пожалуй, поглощена она... гм, творчеством, болтовней и предстоящей поездкой в Москву (они с Дейчем едут-де в командировку, но думаю, что, как все, постараются там остаться окончательно). Она с Дейчем написала книгу

о Навои; вообще они говорят только о Навои, о разных ханах и баях, консультируют узбеков и т. д. Свифт, Гейне, Навои, лекции о гитлеровской шайке — Дейч воображает, что этот наружный космополитизм тем показателен для его, Дейча, культуры и разносторонности; на деле же он и Л. Бать — просто дилеттанты, преуспевающие средние литераторы.

Неоспоримое достоинство города Ташкента заключается в бесспорной мягкости его климата. Кстати сказать, гениальный и знаменитый Гёте писал сплошь такими фразами — плавными и сытыми... Да еще в придачу на каждую страницу с десятком «Ах»!-ов и «дорогих Альбертов» и «милых девушек». Но действительно климат в этом году очень милостив, даже дождя еще не было, а всё солнце и сухо. Как ни говори, а это очень приятно, и настроение соответствующее. Лишь сегодня полил дождь, в воскресенье, и я подозреваю, что вся хорошая погода лишь была предлогом для серии дождей. 2 раза «лишь» — но ведь пишу я не для улады потомства и без помарок à la Буало (помнишь, в «Поэтическом искусстве»).

Вчера мне повезло — завоевав симпатии библиотекарши (она мнит себя единственным культурным человеком во всей школе и сразу «расчухала» во мне союзника) я взял четыре номера «Интернациональной литературы» сразу, за 37 й год. В двух номерах помещены, во-первых, 12 й том «Людей Доброй Воли» — «Творцы» (Ж. Ромэн) и «Лето 1914 го года» (из «Семьи Тибо) Дю-Гара. Теперь я читаю «Творцов», потом возьмусь за Дю-Гара, и будет очень любопытно сопоставить творчество этих двух крупнейших современных французских романистов. Вообще я собираю сведения, все, какие только могу, по литературе Франции конца XIX го и XX го вв и всячески пополняю мой багаж знаний по этому вопросу. Я мечтаю когда-нибудь написать историю французской литературы конца

XIX <sup>го</sup> и первой половины XX <sup>го</sup> века; во всяком случае я намерен стать самым первым специалистом по этой части, намерен, так сказать, взять монополию на современную французскую литературу, открыть читателю «новых» авторов — т. е. доселе ему неизвестных, «снизить» одних, и, наоборот, отдать другим их место по рангу. Замысел честолюбивый и выполнимый только через довольно большой промежуток времени. Но я не тороплюсь — всё придет в свой черед, а пока надо читать и читать. Кстати, в номере 6 <sup>м</sup> за 37 <sup>й</sup> год я нашел несколько карикатур Жана Эффеля. Какой талант! Помнишь все эти завитки, пауки, цветочки, всех этих академиков? Сколько книг хочется прочесть и перечесть! Неоспоримое достоинство Москвы для меня состоит в том, что там возможна, благодаря Центр⟨альной⟩ Библиот⟨еке⟩ Иностр⟨анных⟩ языков и читальному залу, систематическая работа в деле всё более и более широкого познания необходимого количества авторов — а здесь это невозможно. Насколько приятнее и важнее было бы прочесть тех же Ромэна и Дю Гара в оригинале! Но и то хорошо, что хоть это я достал. Теперешние номера «Интернациональной литературы» содержат, главным образом, английские и американские стихи, новеллы, рассказы и романы на военные темы, репортажи и публицистику. Всего этого очень много, но я бы не сказал, чтобы эти произведения были особо выдающиеся — на всём лежит печать спешки. За время войны я не читал ни одного произведения (новых) крупных современных западных писателей. Ничего не дали (по крайней мере, у нас не переведено) ни Уэллс, ни Шоу, ни Хаксли, Олдингтон, Томас Манн. Правда, Эптон Синклер написал большую трилогию, и Хемингуэй — книгу об Испании, но всё это скорее публицистика. Жюль Ромэн работает в Америке над «Людьми Доброй Воли»,

новые произведения (публицистика — о разгроме Франции) пишут в Америке же Моруа и Маритэн, в Англии — Бернанос и Мориак. Анри-де-Кериллис идет впереди всех в этом деле: под псевдонимом Андрэ Симона он написал книгу «Я обвиняю» (против предателей Франции) и «Люди Европы» — о европейских «квислингах» всех стран. Всё это — блестящие фельетоны, сатиры, памфлеты и статьи. Пока «больших форм» нет, но это неудивительно — время переходное, неверное, и только потом можно будет создавать что-то длительное.

Из русских авторов очень увлекаюсь Блоком и Достоевским. Блок — действительно поэт с большой буквы. Очень любопытно то, что у него количественно гораздо больше гениальных, замечательных и т. п. стихотворений, чем у любого другого поэта. Он сочетает мистику и остроумие, урбанизм и чувство пейзажа; он исключительно человечен, но и возвышен, он многогранен, но глубок во всем. Достоевский же, как какой-то чародей, завлек меня в свой магический круг и не выпускал из-за него, несмотря на то, что читал-то я первый том его произведений; особое впечатление произвел на меня «Двойник» — своим языком и особым колоритом мрачности и бреда; нечто вроде синтеза Гоголя и Гофмана. Необыкновенный писатель! И о нем надо будет сказать когда-нибудь совсем иное, чем говорилось и говорится.

Весьма заедают дела хозяйственные; даже не знаю, радоваться или плакать. Дело в том, что в отношении питания мое положение несколько улучшилось — но чтобы получить какие-либо продукты, необходимо терять такую бездну времени, что нет времени и в школу пойти. У любого школьника и проблемы-то этой нет — пойдут мама или кто-либо еще. А я одновременно и домохозяйка и ученик X<sup>го</sup> класса. В самом деле, говорят тебе: сегодня будут выдавать то-то и то-то. Ведь жить святым

духом невозможно: вот и пойдешь, а пока получишь, смотришь — ан глядь уж и время утекло, и опоздал. Впрочем всё это не трагично, но в школе иногда трудно это втолковать так, чтобы не выходило, будто ты обжора и лентяй — просто, очень необычное положение, и как-то не верится, что некому пойти, принести, приготовить, и что я выполняю функции, очень для меня, моего возраста странные. Хоть по крайней мере я научился готовить. Предстоят быть может тяжелые испытания, перемены и передраги, так я и хочу, раз есть пока возможность, поправить здоровье. Это необходимо. Впрочем, в школе отметки всё те же, как и всегда у меня за эти три года — отлично по истории, литературе и языкам, посредственно по точным наукам. Это — неизменно, изо дня в день, из года в год.

Я уж заранее прикидываю, где буду встречать Новый Год — так, чтобы было возможно удовлетворительнее. Я формалист, и почему-то такие даты и праздники играют для меня огромную роль, и мой скепсис прекрасно уживается с некоторыми приятными традициями.

У нас в Ташкенте идет американская комедия (кино) «Три Мушкетера» с бр⟨атьями⟩ Риц. Я в 1939 м. г. видел этот фильм — очень смешной, и все восторгаются им сейчас. И еще, говорят, к Новому Году, будет выпущено два американских фильма. Это очень хорошо (если не наврали).

Очень давно — почти полгода — не имею никаких вестей от Митьки. Он — в Свердловске, на II м курсе классического отделения факультета литературы и языка МГУ. Очевидно, занятия заели, да и помещаются все они за-городом, а сейчас зима, не выберешься в город. Может, и забыл — всё бывает; но не думаю.

Пора кончать, день уже стареет, утро умерло и тянется полоса «апрэмиди». <sup>2</sup>

Прощаюсь и обнимаю крепко. Пиши. Твой брат  
Мур

20/ХІІ-42.

## Дорогая Алечка!

Пишу тебе, как и в прошлый раз, в воскресенье. Но если 13<sup>го</sup> числа впервые пошел снег — впрочем, жиденький — то сегодня погода совсем расцвела: во-всю светит солнце, небо — синее, и даже подмораживает; что-то вроде ранней подмосковной осени.

Улицы Ташкента оживлены; всюду очень много сует всякого народа, образуя узлы скоплений у кино, афиш и всяких газет. Я, собственно говоря, должен был бы чертить — в понедельник надо сдать учителю форматки, ну да черт с ним, с черчением; успею, а писать могу только утром да после обеда — на свежую голову; вечером же всякий талант пропадает, да и ложусь я рано (9 часов).

Муля пишет мне, что он работает «как два вола», мало спит. Охотно верю; счастливый человек! По крайней мере жизнь интенсивная и сознание приносимой пользы.

В школе дела идут более или менее равномерно, без изменений. Вот только загружают разными докладами под предлогом «выдвижения молодых», а на деле просто всё сваливают на меня как на наиболее способного не ударить носом в грязь перед всей честной публикой. Сейчас по литературе проходим Горького; проходим очень тщательно. К 25<sup>му</sup> числу надо приготовить домашнее сочинение на тему «Горький — учитель молодых советских писателей». И сейчас я штудирую томище литературно-критических статей Максими́ча. Очень многие из них устарели, в некоторых есть стилистические ошибки, но, в общем, все эти статьи — здоровые, нужные, честные и полезные. Конечно, 99% содержания их —



«взлом открытых дверей», но в данных условиях это, повидимому, было необходимо. Но блеском, блеском покойный Максимыч, надо прямо-таки сказать, не обладал. Впрочем, «не суди да судим не будешь». Так или иначе, Горький скучен.

Какое-то подобие желанной гармонии создает хорошая погода. Сияние солнца, синее небо, отчетливость контуров зданий с бликами света на них, всё это вместе создает умиротворенное настроение, смягчает слишком острые углы и выступы собственных мыслей. И можно бездумно итти по улице, всё забыв, кроме внешней благосклонности настоящего дня, который тебе улыбается, не слишком много обещая, но симпатично, без претензий и ни на что не обязывая. И ты вдыхаешь чистый, свежий воздух и чувствуешь, что много еще хорошего впереди. Впрочем, на следующий же день серые тучи, дождь и грязь превращают меня в крота, очень неохотно выходящего из своей норы и склонного к проклятьям против милого города Ташкента.

Получил недавно зимний паек; продержится он недолго, благодаря накопившемуся аппетиту. До 1939 го года меня занимали и заполняли мой ум три явления: пресса, радио, кино. Я жил только ими и купался в этих трех элементах. С 1939 го по 1941 г. я жил во власти внешних событий, торопливо коротая каждый день и пытаюсь разобраться в виденном, услышанном, прочитанном, хватая развлечения и мысли. С 1941 го по 1942 г. желудок выступил на первый план, в первый ряд забот и проблем; ум же занялся переработкой, усвоением ранее приобретенных идей и понятий. Что даст 1943 г. год? Все-таки, годы 37 ле — 39 ле — самые счастливые в моей жизни. Никогда, ни до, ни после, я не жил так полно, интенсивно, никогда так не увлекался; в те годы скука была мне неизвестна и внешняя блестящая оболочка событий своей

заманчивостью заставляла меня трепетать и радоваться. Конечно, была мечта о «норвежском домике»<sup>1</sup>, но она — теперь я это вижу — существовала лишь как способ окунуться в более новое, в более интересное; на деле мечта оказалась тягчайшим испытанием и мое представление о счастье продолжает быть связанным — для меня — с 37—39 м гг. Потом были испытания, мучения, встречи, отдельные радости, но прежнего удовлетворения уже не было. Впрочем, всё меняется, всё принимает новые, иные формы, и я достаточно умен, чтобы понять, что как моя прежняя жизнь не могла вечно протекать без изменений и конфликтов, так и нынешнее мое существование выльется во что-то более интересное, оживленное, человеческое. Меньше, чем кто-либо, я склонен ставить вопросы о смысле жизни и т. п.; избитость, «замшелость» этих готовых форм вопросов мне противна, да и чисто-интеллигентского пустомельства я не выношу: в 1942 м г. я на практике смог убедиться в физической склонности к празднословию и болтовне наших недо- и пере-интеллигентов. Повторения, скороспелость выводов, легкомыслие — вот они, песенки репертуара выше-названных героев и героинь литературного мира. Все они — чеховские герои, и ими по сей день остались, увы. Обожают нескончаемо пить чай (буквально всё время; это меня раздражает), говорить «М-да...» и вспоминать, что в таком-то году в «Национале» был удивительный поросенок с хреном. Да, он-таки был удивительный, но зачем о нем вспоминать? Все эти господа лишены и чувства юмора, и той глубокой способности к самокритике, которая необходима в каждом истинно-культурном человеке, в каждом интеллигенте, претендующем на это звание.

Быть может я, как всегда, чересчур строг, и эта строгость происходит от молодости: «молодежь так строга...»

Но лучше ли добродушная снисходительность, похожая — извини — на отрыжку? С другой стороны, человек, заботящийся о «золотой середине» во всем — мещанин, и приходим к выводу, что не следует насилловать себя, и что подлинные чувства всегда бесспорны.

К сожалению, всякие такие выводы чаще всего скрывают неспособность человека по-настоящему разобраться в чрезвычайной сложности жизненных явлений; помимо всякое определение нравственного порядка, принятое за руководство, есть чаще всего отнюдь не плод честных размышлений, а лишь компромисс, самое удобное решение, сделка с совестью или с умом. И в искусстве самообмана человек — мастер.

Сейчас уже часов 10 вечера. Так как, по случаю воскресения, я ходил в гости (к теще Толстого, к Дейчам), то, вследствие ходьбы и свежего воздуха я довольно бодр и оттого могу еще кое-как мыслить (именно кое-как; — так сказать, рывками.)

Да, читал я сегодня «Правду» и «Известия» и сделал курьёзное открытие: — все слова, где буква *e* произносится *йо*, украшены двумя точечками: ещё, актёр, миномёт, шахтёр, пулемёт, молодёжь — и так во всех словах с *e* — *йо*. Прямо диво!

Просмотрел я «Три Мушкетера» — так, пустячок. В театрах что-то не бываю, хотя у нас в Ташкенте театр Революции и театр Берсенева (им. Ленинского Комсомола.) В репертуаре «Фронт» Корнейчука, «Васса Железнова» Горького, «Нора» Ибсена, «Валенсианская Вдова» Лопе-де-Вега и т. д.

Начинаю подумывать о возвращении в Москву — все-таки там — Муля и Лиля, а здесь я совершенно почти одинок, а если уедут Дейчи и родственники Тостых — то и стану одинок окончательно. Такой переезд осуществить, конечно, очень трудно, но я попытаюсь сделать всё

возможное. Уж очень надоело писательское общежитие, в котором я живу; надо переменить бы воздух.

Ну, Алечка, пора мне кончать. Что-то ты хотела написать о Лермонтове? Недавно мне пришлось втолковывать одной соседке почему Печорин — гениальный образ. Но я уверен, что ты не окажешься этой соседкой! — Хотя, впрочем, лучше было бы не соглашаться насчет Печорина, да быть вместе. Но, как говорится в приказе Сталина «будет и на нашей улице праздник!»

И этим я кончаю мое письмо.

Крепко целую и люблю.

Твой брат Мур.

〈Приписка на полях:〉

P.S. Только что получил твое письмо от 1/ХІІ-42, вместе с поздравительной открыткой<sup>2</sup>. Спасибо, Алечка! Хорошо, что ты меня не забываешь и я думаю, что мы больше поняли и узнали друг друга за последнее время, чем за всю нашу предыдущую жизнь. Мы вместе будем идти вперед.

29

1/І-43.

Дорогая Алечка!

Пишу тебе в несколько приподнято-торжественном настроении, причиной которого служат два факта: во-первых, как-никак, сегодня — 1<sup>й</sup> день наиновейшего из годов, а во-вторых я завтра должен призываться «на действительную» в Красную Армию. Совпадение начала нового года с началом новых событий в моей жизни, наличие чистой белой рубашки с монпарнасским зеленым галстуком и то, что сегодня — выходной день, — всё это и создает эдакое подобие разреженной атмосферы. Ну, не

горные высоты, не Альпы какие-нибудь, но все-таки так, ничего, не плохо — момент интересен.

Вероятнее всего, что касается призыва, то меня, в качестве учащегося десятилетки, да еще выпускника, оставят «до особого распоряжения» — т. е. до окончания 10 го класса, когда и возьмут в армию. Но возможно также, что (если медкомиссия признает годным, конечно) сразу определят в какое-нибудь училище. Во всяком случае извещу тебя своевременно о результатах моих военкоматских дел.

Новый Год только встретил один; встретил хорошо: без ложной торжественности, без шумихи. Выпил ровно столько, чтобы опьянеть без неприятных последствий; продукты были все те, о которых желал. Поражала — и приятно поражала — тишина: соседи по общежитию собрались вместе где-то в дальней комнате коридора, и моему поединку с мыслями, продуктами и книгой Жана Жионо «Радость» не мешало ничего. С одной стороны было немного досадно, что во всем Ташкенте не нашлось ни одного человека, который бы меня пригласил на встречу Нового Года — я производил себе впечатление девушки, которую не пригласили танцевать; с другой — в сущности, мне по-настоящему приятно было бы встретить Новый Год только с тобой, папой и Мулей. Так что беда была невелика — и зато сегодня утром не болит голова, язык не кажется тяжелым, и я встал раньше других, и я тебе пишу письмо. И сегодня солнце. Так себя утешает вышеупомянутая девушка: «Да, но зато я понравлюсь человеку, в сто раз красивее всех тех болванов, которые были вчера на балу, и мое платье всё же заставило лопнуть от зависти многих франтих».

Все твои письма регулярно получаю; последнее было от 5/ХІІ-42. Насчет Павлика я, по всем признакам, ошибся, и тот, кого я принял за него, повидимому, не он.

Кончилась вторая четверть учебного года. Отметки мои — те же, что и раньше, безо всяких изменений.

Во всех твоих письмах сквозит неподдельная горечь по поводу утраты семьи, дома, чего-то солидного, настоящего. У меня в этом отношении совершенно такое же чувство, что и у тебя. Но лишь теперь я понял, какое колоссальное положительное значение имела в моей жизни семья. Вплоть до самой смерти мамы я враждебно относился к семье, к понятию семьи. Не имея опыта жизни бессемейной, я видел лишь отрицательные стороны семейной жизни, по ним судил — и осуждал. Мне казалось, что семья тормозила мое развитие и восхождение, а на деле она была не тормозом, а двигателем. И теперь я тщетно жалею, скорблю о доме, уюте, близких и вижу, как тяжело я ошибался. Но уж поздно. Впрочем, нечего впадать в замогильный тон — ведь сегодня воскресенье, солнце, Новый Год «и прочая и прочая».

Недавно, с целью проверки истинных знаний учащихся, у нас в классе устроили сочинение, которого никто не ожидал. После проверки (а проверял Гор. Отдел Наробраза) я получил свое сочинение (тема: «Жизнеутверждающее начало в ранних романтических произведениях Максима Горького».) Я был весьма польщен: «Автор обнаружил превосходное знакомство с историей русской литературы конца XIX <sup>го</sup> — начала XX <sup>го</sup> вв»... «Безукоризненно владеет письменной речью»... «Безупречный стиль» — подобные фразы пестрили в конце моей импровизации на жизнеутверждающие темы.

Впервые познакомился с творчеством двух первоклассных писателей: Ш. Л. Филиппа и Жана Жионо. И конечно мечтаю читать эти книги не в переводе (сколько теряется!), а в оригинале.

Ну, Алечка, пора кончать. Пусть этот Новый Год

станет годом победы, годом нашей встречи, годом решающим в нашей жизни.

Крепко обнимаю. Твой брат  
Мур

30

8/1-43.

Дорогой Муля!

Пишу тебе большое, откровенное письмо, точная доставка которого для меня исключительно важна, ибо *это* письмо имеет, в известной степени, значение итога всей моей жизни за три с половиной года — начиная с 1939 г. Оно тебе многое объяснит и откроет, а я чувствую непреодолимую потребность в том, чтобы кто-то знал побольше обо мне — и это не эгоизм, а попытка обмануть крошечное собственное одиночество, абсолютную внутреннюю пустоту.

Л. Г. <Бать>, которой поручено передать это письмо, выполнит это поручение, я уверен, с максимумом добросовестности.

Ты уже знаешь по моим последним телеграммам, во-первых, о том, что я призываюсь на военную службу, во-вторых,— что я мобилизован на трудовой фронт и уже десятого должен явиться на сборный пункт с вещами. Пишу сперва лишь о фактах.

Приказ о призыве граждан 1925 г. рождения появился еще 31 <sup>го</sup> декабря 1942 г. Прочитав его, я решил пойти в военкомат 2 <sup>го</sup> января нового года, из соображений чисто-символического характера: новый год, начинается новый, неведомый этап жизни. Утром 2 <sup>го</sup> января я отправился в военкомат. Сначала пришлось отвечать на анкетные вопросы призывной карточки. Я не считал воз-

возможным скрывать того факта, что отец и Аля — арестованы и что я жил до 1939 г. за границей. Был ли я прав, поступив таким образом, или, наоборот, об этом следовало умолчать? Я до сих пор не могу ответить на этот вопрос положительно или отрицательно. Я последовал собственной интуиции, быть может, — себе на погибель.

Так или иначе, я дал ответы по всем графам анкеты, и в тот же день прошел медицинскую комиссию. Ты знаешь, как эти комиссии действуют сейчас, так что не буду распространяться об осмотре. Как я, впрочем, и ожидал, комиссия признала меня годным к строевой службе. Этим закончилось мое первое посещение военкомата, и в 7 час. вечера я возвратился домой, изрядно измотанный (военкомат помещается в Старом Городе, а трамваи не ходят.) Паспорт был у меня отобран, как и у других призывников, и было сказано явиться на следующее утро в 10 часов.

На следующий день, 3 го числа, я вновь отправился в военкомат. Лишь часам к 5 ти, предварительно остригшись под машинку, я предстал перед призывной комиссией. До этого я успел увидеть то, что те, кто работает на оборонных заводах, получают отсрочку до 1 го июля; те же, кто окончили 8 классов, направляют в различные военные училища. Каждому сообщали род войск, куда он определен.

Председатель и члены призывной комиссии ознакомились с содержанием моей анкеты, задали несколько типичных вопросов (кто осужден, когда приехали в СССР и т. п.) и сказали, чтобы я ожидал решение комиссии; род войск, куда я определен, не сообщили.

После трехчасового ожидания в чайхане призывники были собраны в большом зале военкомата, выстроены, и военком Октябрьского РВК, майор Коканбаев — толстый узбек в орденах — произнес соответствующую речь,



сначала на русском, потом на узбекском языках. После этого началась раздача документов. Ремесленники, ФЗОшники и рабочие с оборонных заводов получили обратно паспорта и приписные свидетельства с отсрочкой. Мне же, как и большинству остальных, вручили явочную карту на 10<sup>ое</sup> число — «явиться остриженным, с вещами и в годной для носки одежде» и т. д. Я заметил, что все, получавшие эти явочные карты, зачислялись в две команды: № 1 (пехота) и № 2 (училища), а у меня в графе «и зачислен в команду №» было написано «тр». И тут кто-то сказал: «тудармия».

Возвращаясь домой вместе с товарищем по классу (его определили в артучилище), я узнал от него, что «обязательную тудармию» называют более часто просто каторгой, что там занимаются тяжелой физической работой — строят железные дороги, роют каналы, работают на заводе и в поле, на комбинатах и новостройках. Туда зачисляются те лица, которые по каким-либо причинам не могут находиться в армии: нестроевики, лица, имеющие в семье заключенных, выходцы из Зап(адной) Украины, и даже заключенные; — в общем, всякий сброд. Кормят там очень плохо (об этом говорили все). Определенной формы тудармейцы не имеют. Впоследствии эти сведения подтвердились: из разных источников о тудармии говорили одно и то же, сводящееся к вышеупомянутой характеристике.

Понятно, всё это меня испугало и огорчило. 4<sup>го</sup> числа я снова был в военкомате и добился вторичного разговора с призывной комиссией. Я захватил с собою свидетельство о рождении, справки Союза писателей об эвакуации из Москвы, профбилет Марины Ивановны — всё документы, свидетельствующие о том, что я — действительно советский человек и в Ташкенте очутился не случайно. Я сказал комиссии, что не моя вина,

что я родился и жил за-границей и что у меня арестованы близкие, говорил, что хочу поступить в артучилище и защищать родину. Члены комиссии выслушали всё, что я им сообщил, и тут один из них сказал мне: «Вы говорите, что хотите защищать родину. В училище мы вас направить не можем никак; эта возможность исключена. Что бы вы сказали, если бы мы вам предложили пойти просто в армию?» Я сообразил, что все-таки лучше быть рядовым в тылу, чем рядовым на фронте, и ответил уклончиво, что я бы хотел в училище, а дело решает комиссия. Посовещавшись минут 10, комиссия вызвала меня и сообщила: «Решение призывной комиссии остается прежним». Вот и всё.

Возможно, что надо было пойти обжаловать это решение в облвоенкомат, возможно, что надо было хлопотать через Союз Писателей — или попытаться хлопотать. Но я этого не сделал — не сделал потому, что совершенно не был уверен в целесообразности этих попыток и не захотел ради пустых хождений портить себе остающиеся дни.

Вся ужасная моя трагедия заключается в том, что в эти ответственные, решающие дни моей жизни я был совершенно и окончательно одинок. Около меня не нашлось ни одного человека, голос которого был бы достаточно авторитетен, чтобы я внял ему без колебаний, чтобы те советы, которые мне этот человек дал бы были мною восприняты как безусловно бесспорные и послужили руководством. Около меня не нашлось ни одного человека, который, взяв меня за обе руки, внятно произнес бы мне: «Жизнь — впереди, война — кончится; не горюй, ничто не вечно, трудности закалят тебя, всё идет к лучшему; терпение, терпение, всё для тебя впереди, всё еще будет». Ты видишь, я знаю эти слова; они мне были очень нужны, но никто их не произнес, и вокруг меня был

тот же человеческий хаос, что и вокруг Марины Ивановны в месяцы отъезда из Москвы и жизни в Татарии. Так же и в области материальной: в советах по этому поводу царила полная разногласия; я не знал, кому верить, не знал, кто более прав, не знал, и это очень грустно, что брать с собой, что продавать и покупать, не знал, что делать. Я был один с сознанием, что мне предстоит нечто очень страшное и незаслуженное, один с сознанием того, что произошло нечто неотвратимое.

Я думал о том, что с моим отъездом нашу семью окончательно раскисировали, окончательно с ней расправились, и меня, роковым образом, постигло то, чего я так боялся, ненавидел и старался избежать: злая, чуждая, оскаленная «низовка» — низовка тяжелого труда, дикости, грубости, низовка страшной отдаленности от всего того, что я любил и чем жил. Прощай, музыка, прощай, литература, прощай, образование: завод, полевые работы, грубость и вонь, грязь и глупость — вот теперь мой удел. И я даже не знаю, так ли я собрался в дорогу, как надо, не знаю, смогу ли писать, куда пошлют — и на что. Если бы ты был около меня, то всё было бы по-иному, тебе я поверил бы, тебя бы послушался; ты — мой друг, и тебя в эти подлинно трагические для меня дни, тебя-то мне очень недоставало. Итак, круг завершён — Сережа сослан неизвестно куда, Марина Ивановна покончила жизнь самоубийством, Аля осуждена на 8 лет, я призван на трудовой фронт. Неумолимая машина рока добралась и до меня. И это не *fatum* произведений Чайковского — величавый, тревожный, ищущий и взывающий, а Петрушка с дубиной, бессмысленный и злой, это мотив Прокофьева, это узбек с выпученными глазами, это теплушка, едущая неизвестно куда и на что, это, наконец, я сам, дошедший до того, что начал думать, будто бы всё, что на меня обрушивается, — кара за какие-то мои грехи.

Я ненавижу грязь — и уже вижу себя в разорванном, завшивленном ватнике, в дырявых башмаках, бывшими когда-то заграничными туфлями (подарок Толстых). Я ненавижу грубость — и уже вижу себя окруженным свинными рылами уголовников и шпаны. Я жду издевательств и насмешек, ибо сразу увидят, что я не похож на других, менее, чем другие, приспособлен к различным трудностям, сразу увидят, что я слаб физически, сразу обнаружат тщательно скрываемое внутреннее превосходство — и всего этого не простят. Я ожидаю самого худшего. Но я не сдамся; меня сломит только болезнь, эпидемия. Основное — выжить, и если искать хорошую сторону случившегося, то шансы мои на смерть неизмеримо меньше, чем если бы я пошел по военной части; на фронт меня не допустят, снарядов, трупов я не увижу, и по крайней мере, вот эта сторона жизни, страшная по-своему, будет мною избегнута. Я не трус, я этого не желал, я просился в артучилище, но так уж вышло, и так как все в один голос говорят об ужасах трудармии, то я хочу найти хорошую сторону медали, и гарантия от насильственной смерти и есть эта хорошая сторона.

Я выживу, Муля, но знай, что очень мне повредит этот удар судьбы, очень озлит, очень испортит. Всё, пожалуй, могло быть хорошо, но всё для меня с самого начала пошло плохо, ненормально. Мне чисто-объективно жаль себя. Я бы мог принести пользу, а выходит так, что обстоятельства объединяются против меня и упорно этому препятствуют и бросают в нелепейшие ситуации. Бог ведает, когда я вернусь из этой трудармии и, главное, в каком виде и состоянии. Не по мне такая жизнь. Я боюсь, что предстоящее испытание сильно меня покалечит физически, испортит морально.

Впрочем, считаю, что предаваться чрезмерным ламен-

тациям — недостойно и скучно. Кроме того, бессмысленно беречь свою рану — и тут подтверждается то, о чем я всегда говорил: что самый худший враг человека — это он сам; иными словами, очень многое в моей судьбе зависит от меня самого, от того настроения, которое я буду поддерживать или, наоборот, с которым буду бороться.

Надо быть мужественным, но это — не всё. Переносить испытания — не так уж тяжело, но надо еще иметь веру во что-то, надо уметь надеяться, надо мечтать о будущем, и это-то мое слабое место. Я умею лишь вспоминать о прошлом, ибо лишь в нем я был счастлив, а настоящее, так сказать, подвело. Прошлое ушло безвозвратно; настоящее, хоть и понято, но, по-видимому, недостаточно, чтобы быть принятым и прочувствованным; будущее же для меня — лишь конгломерат пустых слов и понятий, лишенных конкретного содержания: да, всё будет лучше, но как, кому и когда лучше — знак вопросительный.

Я вспоминаю Марину Ивановну в дни эвакуации из Москвы, ее предсмертные дни в Татарии. Она совсем потеряла голову, совсем потеряла волю; она была одно страдание. Я тогда совсем не понимал ее и злился на нее за такое внезапное превращение... Но как я ее понимаю теперь! Теперь я могу легко проследить возникновение и развитие внутренней мотивировки каждого ее слова, каждого поступка, включая самоубийство. Она тоже не видела будущего и тяготилась настоящим, и пойми, пойми, как давило ее прошлое, как гудело оно, как говорило! Я уверен, что всё последнее время существования М. И. было полно картинами и видениями этого прошлого; разлад всё усиливался; она понимала, что прошлое затоптано и его не вернуть, а веры в будущее, которая облегчила бы ей жизнь и оправдала испытания и несчастья, у нее не было.

Мне кажется, что для нашей семьи эта проблема взаимосвязи трех величин: настоящего, прошлого, будущего,— основная проблема. Лишь тот избегает трагедии в жизни, у кого эти величины не находятся в борьбе и противодействии, у кого жизнь образует одно целое. У С〈ергея〉 Я〈ковлевича〉 всегда преобладало будущее; только им он и жил. У М〈арины〉 И〈вановны〉 всегда преобладало прошлое, многое ей застилавшее. Об Але не говорю — не знаю. Я же всегда хватался за настоящее, но в последние времена это настоящее стало сопротивляться, и прошлое начало наступление. И в том, что у каждого из членов нашей семьи преобладала одна из этих трех величин — в ущерб другим, в этом-то наша трагедия и причина нашей уязвимости, наших несчастий. У всех нас отсутствовала единая мера, которая бы измеряла явления всех трех величин. Вполне возможно, что такой меры вообще не существует, но мы это отсутствие осознали с особой силой.

Очень хочется верить, несмотря ни на что, что мне удастся сохранить человеческий облик, что не всё окончательно потеряно. Если бы ты только знал, как я люблю цивилизацию и культуру, как дышу ими — и как ненавижу грубость и оскал невежества, как страдаю и мучаюсь от них.

Дневники, книги, документы и шубу Л. Г. тебе передаст на сохранение. Часть вещей (кожпальто, пиджак) пришлось продать, чтобы снарядиться в дорогу и иметь свободные деньги на первое время, самое трудное. Знай, что я к тебе всегда очень хорошо относился и считаю тебя прекрасным человеком, прекрасных качеств и свойств. Если я тебе кажусь растерей, нытиком, не суди меня слишком строго; вспомни, что было и произошло и происходит со мной, как я жил и как буду жить; вспомни всё — и пойми, что быть другим я не мог.

Итак, начинается новая жизнь. «С Новым Годом, с новым счастьем...» Насчет счастья не вышло. Что-ж — пускай. Пожелай мне сил, не забывай обо мне и пойми меня. Не теряй меня из виду; ведь ты — единственный человек, к которому я могу обратиться за помощью, в случае надобности.

Радуют наши победы. Хочется, чтобы де Голль взял власть в Африке. Остается сказать, как бретонские моряки перед выходом в море: «А Dieu vat» \*. Дорогой Франции тоже плохо пришлось, и я себе не мыслю счастья без ее восстановления, возрождения. И последняя мысль моей свободной жизни будет о Франции, о Париже, которого не могу, как ни стараюсь, которого никак не могу забыть. Самое тяжелое — одинокие слезы, а все вокруг удивляются — какой ты черствый и непроницаемый.

Прощай. Обнимаю. Прочти это письмо Лиле и Зине, обними их за меня. Авось поймут и простят — если есть, что прощать.

Твой Мур.

31

8/1-43.

Дорогая Алечка!

Итак, судьба моя решена. Десятого числа я должен явиться с вещами в военкомат: я мобилизован на трудовой фронт (ввиду моих обстоятельств, в военное училище меня, как других десятиклассников, не взяли). Повидимому, буду работать на заводе (я так думаю), где, конечно, неизвестно.

---

\* На волю Божью (фр.).

Начинается для меня новая, неведомая жизнь, и перелом в моем существовании будет не менее глубок и радикален, чем тот, который пришлось испытать тебе; вообще, вероятно, моя дальнейшая судьба будет схожа с твоей, и низовка настигла и меня тоже.

Я не горюю; конечно, хотел пойти в военное училище и обжаловал решение призывной комиссии, но ничего не вышло — очевидно, моя статья не позволяет мне идти на фронт, и потому прежнее решение — о мобилизации в Трудармию, подтвердили. Конечно, мне будет очень тяжело; не знаю, смогу ли вынести физически предстоящие испытания; готов ко всему.

По крайней мере, последние дни я провел хорошо; кое-что продав из ставших ненужными вещей, замечательно питался, был на двух школьных вечеринках, и успел освоиться с мыслью о предстоящем. Стоит — тьфу-тьфу! — замечательная погода, и это очень улучшает настроение.

Работать буду в тылу, не на фронте — это совершенно точно известно. Таким образом, если мы с тобой не свалимся от болезни какой-нибудь, то теперь уверены в том, что увидимся. И это — очень хорошо.

Я написал Мульке большое письмо, которое вместе с моими дневниками, шубой и прочим, переправлю в Москву через Лидию Григорьевну, которая скоро туда отправится в командировку.

Прощай, музыка, литература, школа! Но всё еще будет вновь, и скорее, чем мы думаем.

Буду писать, как только смогу. Пожелай сил и счастья.

Целую крепко. Твой брат Мур

P.S. На ул. Маркса уж больше не пиши.



27/1-43 г.

Алечка дорогая!

Вообрази, что мои мытарства, связанные с призывом, всё еще не окончились, и вот скоро уже месяц, как тянется это дело. Как тебе я писал, меня определили в Трудармию. Затратив немало ценного времени на то, чтобы убедиться в бесполезности что-либо предпринять со стороны Союза Писателей в плане изменения этого решения, благо Союз, не отказываясь решительно, всё же так ничего и не сделал, хотя помочь мне в этом деле мог, я решил действовать сам, и кое-куда написал. Через два дня меня вызвали и обещали дать соответствующие указания в военкомат. Но какие это указания — о том я так до сих пор не знаю. В военкомате ничего неизвестно, время идет, я названиваю по телефону и получаю неопределенные обещания (абсолютно как папа в Болшево, помнишь?), а между тем я всё еще определен туда же, ничего еще не изменилось и день отправки медленно (я получил 4 отсрочки!), но верно приближается и тревога моя возрастает пропорционально моему бессилию убедить тех, кто может помочь, сделать это возможно скорее и эффективнее. Если бы Алексей Николаевич был здесь, всё бы мигом было бы сделано; какая досада, что он сейчас — в Москве! Не везет мне очень. А всё могло так хорошо обойтись, и летом я был бы в Москве (так мне пишет его жена)! Завтра надо опять явиться. Буду держать в курсе дел. Крепко целую. Твой брат Мур.

12/II-43 г.

Дорогая Лиля!

Получил Вашу открытку. Не писал я в последнее время потому, что совсем замотался с делами призыва — целый месяц, со 2<sup>го</sup> января по 2<sup>ое</sup> февраля, я мог отправиться каждый день в Трудармию. Только 2<sup>го</sup> я узнал окончательно, что зачислен в резерв до особого распоряжения и, таким образом, могу продолжать заниматься в школе.

А 4<sup>го</sup> числа я тяжело заболел рожистым воспалением — опять! — и той же ноги, что и в 1<sup>й</sup> раз. Сейчас выздоравливаю, и 15<sup>го</sup> думаю уже приступить к занятиям в школе. Все эти дни лежал и не выходил.

Очень беспокоит собственный несуразный аппетит, возвращающийся по мере выздоровления! Но ничего — как-нибудь переживем. А победы, победы какие! И жить становится легче и веселее.

Напишите про Кота — я о нем ничего не знаю. Не болейте; желаю Вам сил и здоровья. Не забудьте, что Людмила Ильинична не должна ничего знать о моей истории с хозяйкой. Она мне очень еще поможет. Целую крепко. Ваш Мур.

22/II-43 г.

Алечка дорогая!

Сегодня опять удалось урвать кусочек времени — и вот я тебе пишу.

С каждым днем я всё более оправляюсь от последствий моей болезни, и если я еще и хожу с палочкой,

то делаю это, так сказать, для очистки совести и потому что мне понравилось ходить с палкой — надо же себя чем-то тешить, время от времени. У меня чинный вид: темно-синяя фуражка, черное пальто, «шотландский» шарф, калоши, портфель, палочка... И я иду, медленно хлюпая по тающему снегу — и мне смешно, что у меня вид такого пай-мальчика. То ли было дело, когда я ходил в желтом плаще, рыжем костюме, блестящих башмаках и, облокотясь на буфет Концертного Зала им. Чайковского, обозревал медленно прогуливающихся меломанов! Теперь хочется сказать: «Тото было весело!» — А, между прочим, было прямо-таки скучновато, и эти концерты были скорее нечто вроде какой-то «светской обязанности» — «людей посмотреть и себя показать» и особенно последнее: делай скидку на юношеское тщеславие.

Теперь же я бываю почти исключительно в кино; как самое доступное удовольствие, оно меня больше всего устраивает; театр же я вообще не люблю, а концерты в Ташкенте осуществляются чересчур слабыми силами, чтобы на них тратиться. И исполняются-то в большинстве случаев слишком известные произведения, которые надоело слушать. Вот Фейнберг недавно исполнял III <sup>й</sup> форт(еианн)ый концерт Рахманинова — это мне очень понравилось. Вообще же всему предпочитаю слушать концерты по радио (хорошему); в этом смысле я — вполне современный человек.

Недавно прочел в №№ 8 и 10 1 книгу «Изгнания» Л. Фейхтвангера; очень интересно и правдиво... но все-таки Арагон пишет лучше и Синклера и Фейхтвангера.

Если бы ты знала, как я мечтаю о Читальном Зале на Столешниковом пер. в Москве! Всё свободное время я проводил бы там, собирая материал, пополняя

пробелы, систематизируя свои знания. Сколько еще надо прочесть!.. И как хочется избавиться от навязчивого гоголевского лейт-мотива: «Скучно жить на свете, господа!»

Я живу один с чужими людьми в общежитии, перебиваясь со дня на день в материальном отношении. Я хожу в 10 <sup>й</sup> класс средней школы, школы, которую я бесспорно перерос в области гуманитарной культуры и жизненного опыта. Непропорциональность моих переживаний и знаний с переживаниями и знаниями моих одноклассников порождает отсутствие общих интересов, а, следовательно, и отсутствие общей среды, которое ничем не компенсируется, кроме чтения и болтовни. Так как уж не раз доказывалась абсурдность построения каких-либо планов на будущее, мне не хочется лишний раз испытывать разочарование, и потому мечтать и представлять себе приятные перспективы является делом нелегким, и приходится довольствоваться скудным настоящим — погоней за едой, школой, чтением, болтовней. Иногда ощущение пустоты достигает такого предела, что самые обыденные явления представляются какой-то бессмыслицей, а слова режут как нож по стеклу. Остается надежда на победу, твои письма, вера в свою звезду, что эта звезда не подкачает: кто однажды был наверху — в моем возрасте — тот будет наверху и вновь, и уж культуры и личности испытаниям и неприятностям никак не отнять.

Я уверен, и твердо уверен в том, что буду писателем, но для этого надо неутомимо повышать свои знания, свой культурный уровень, изучать историю. Если обстоятельства — время — это позволят, то я в Москве серьезно примусь за дело.

Ну, я кончаю. Пиши мне. Крепко обнимаю.

Твой брат Мур.

4/III-43 г.

Алечка дорогая!

Получил недавно твое письмо от 22/I-43 \*

Ты пишешь, что хвораешь, и мне очень больно за тебя, и так жалко, что я ничего не могу сделать, ничем не могу помочь. В смысле утешения, если в таком нуждаешься, могу сообщить, что я тоже болею, и даже собираюсь лечь в больницу. Болею уже месяц, и всё — нога и это неотвязное рожистое воспаление, возобновляющееся с завидной регулярностью. Полежишь-полежишь, начнешь ходить; походишь-походишь, и опять начинаешь хромать, и в конце концов опять ложишься. Это очень мешает моим занятиям в школе; не знаю даже, удастся ли мне кончить десятый класс к лету, именно в связи с болезнью. Очень прошу тебя не беспокоиться: пишу тебе об этих обстоятельствах единственно с целью дать правильное представление о «текущем моменте» моей жизни, и также для того, чтобы ты не думала, что я живу, как сыр в масле в солнечном Ташкенте — ты работаешь, болеешь, а я снимаю сливки и горя мне мало. Нет, это не так, и мне тоже приходится много, много переносить тяжелых испытаний. Но я, как и ты, не жалею, ибо это — бесполезное занятие, и конечно, когда-нибудь, как в моей, так и в твоей судьбе настанут коренные изменения к лучшему. Я не скажу, что за это говорит здравый смысл, потому что я не очень-то верю в этот самый здравый смысл; но всё же есть, несомненно, некая логика вещей и логика событий, которая и позволяет надеяться на будущее, не впадая, конечно, ни в какие розовые или золотые утопии.

Пишу тебе в постели, в своей полутемной комнате без

---

\* Следующие две строки вычеркнуты цензурой. — *Ред.*

окна и почти, следовательно, без воздуха, что и определяет мой цвет лица — увы, не совсем тождественный идеалу классической кинозвезды; помнишь — «до» и «после», и всему причиной был крем или мыло. А у меня только «до» и причина — ну, конечно же глотательно-желудочного характера!

Жду доктора. Доктора очень неохотно дают направления в больницу, а соседям очень хочется, чтобы я отправился в больницу, т. к. они страшно боятся заразиться рожей — еще, чего доброго, перейдет она на лицо, а ведь соседи — почти всё стареющие или уже постаревшие дамы, тем более трепещущие и опасующиеся за свою наружность и за свое здоровье! Я, впрочем, и сам не прочь лечь в больницу — как-никак «перемена декораций», но, обычно, когда, наконец, приходит доктор, то я нахожусь на стадии выздоровления, и доктор скептически смотрит...

Порою мне начинает казаться, что меня подвел Достоевский. Да, сам Федор Михайлович! Как раз в дни, предшествующие моему новому заболеванию, я занялся чтением его романа «Подросток». Вещь эта бредовая, ультра-напряженная — сплошная лихорадка! Вообще, когда я читаю что-либо Достоевского, то впечатление от прочитанного остается чрезвычайно глубокое; и на этот раз оно, пожалуй, тоже оказалось эффективным: озноб и почти 40° t°! Книгу я кончил; сегодня у меня 37°! Прямая зависимость!

Между тем, повидимому, московские перспективы становятся всё более и более конкретными. Собирают сведения о писателях-москвичах и их семьях, проживающих в Ташкенте, составляются списки, очень многие получают вызовы, и вся писательская братия совершенно определенно рассчитывает быть к лету в Москве. Я, конечно, очень рассчитываю на Толстых, благо А. Н.

помогает мне из-за мамы, его жена — из-за личного расположения ко мне, теща А. Н. — из-за доброго сердца и указаний своей дочери. Эх, хотелось бы окончить 10<sup>й</sup> класс и приехать в Москву с аттестатом, чтобы сразу поступить в ВУЗ. Не знаю, удастся ли это — опять-таки, болеешь, как идиот, и это всё портит.

Читал «Семью Тибо» Дю Гара. Скучно. Жюль Ромэн в том же жанре длиннейшего романа пишет интереснее.

Эге-ге, что-то докторша не идет! Вот и лежи в бездельи. Да, я решительно выздоравливаю, потому что аппетит-таки возвращается, чорт бы его побрал!

Ну, Алечка, кончаю. Желаю всего, чего только можно желать — и даже еще больше того!

Обнимаю крепко. Твой брат Мур.

36

11/III-43 г.

Дорогая Лиля!

Сегодня, впервые за долгие дни, вышел из моей комнаты: рожистое воспаление кончилось; тромбофлебит, однако, остался, и нужно лечиться кварцем. Опять возобновлю занятия; очень хочется, чтобы этот учебный год не пропал даром из-за призыва и болезней.

Во что бы то ни стало буду пытаться окончить десятый класс. Не знаю как будет с колхозом и весенне-летними работами: я колеблюсь, поеду или нет; с одной стороны, боюсь, что заболēju очень серьезно, с другой опасаясь рисковать из-за неотъезда не получить аттестат за 10<sup>й</sup> класс.

С Алей регулярно переписываюсь; вообще, это единственный человек, с которым я переписываюсь: Митька в Свердловске молчит как убитый, Мулька — занят, оче-

видно, по горло, Валя, между нами говоря, писать писем... не того, всё больше жарит телеграммами, Вы, наверное, очень заняты и болеете.

Очень много читаю, охочусь за «Интернациональной Литературой», мечтаю о Читальном Зале на Столешниковом, о книгах, оставленных в Москве.

Дает ли о себе знать Людмила Ильинична? Я уверен, что она и А. Н. вытянут меня в Москву.

Пишите чаще. Обнимаю крепко.

Ваш Мур.

〈На полях:〉

P.S. Двести рублей получил; благодарю, они разрешили несколько насущных проблем. М.

37

25/III-43 г.

Алечка дорогая!

Денька два-три тому назад получил твое письмо от 2/III-43. Спешу сообщить, что посланные тобою 100 рублей давно получил, о чем, кажется, писал тебе в одном из предыдущих писем. Еще раз пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить тебя за твою помощь, и пожалуйста не думай, что сто рублей для меня мало; по ташкентским тарифам это — пять венских булочек, или двести грамм масла среднего качества, или кило шестьсот-семьсот хлеба. А в данное время вышеназванные блага — это «не фунт изюма».

Сегодня — первый день весенних каникул, которые должны длиться до первого апреля. Что-то даже не верится, что будет семь свободных дней, и я подозреваю, что в одну прекрасную минуту придет повесточка, при-



глашающая отправиться в колхоз на работы или на какое-либо строительство. Но я уже твердо решил непоколебимо сидеть дома, ибо такие экспедиции окончатся для меня совершенно ясно: драные ботинки, которые не заменишь, и очередное рожистое воспаление, которое неминуемо произойдет от инфекции через нарывы и царапины. Нет, как говорят французы,— это «очень мало для меня».

Удовлетворительно, несмотря на то, что пропустил, в связи с призывом, два месяца, окончил III<sup>ю</sup> учебную четверть. Но будут ли испытания; когда произойдет выезд на работы и удастся ли мне получить аттестат за ср(еднюю) школу, и не пропадет ли зря этот год — всё это неизвестно.

Мои хлопоты о возвращении в Москву как-будто вступили в новую, более благоприятную фазу: Людмила Ильинична недавно говорила по телефону из Москвы со своей мамашей (которая должна возвратиться в конце апреля) и, между прочим, сообщила о том, что она говорила в Союзе Писателей обо мне, и там ей сказали, что мой вызов в Москву возможен; нужно мое заявление, которое А. Н. аппробирует и, возможно, дело будет в шляпе и будет послан вызов. Сегодня мое заявление отправляется в Москву к А. Н. для аппробации и, если надо, и необходимой корректуры. Конечно, пока всё это — лишь слова, но есть надежда, что они претворятся в действие, думаю, что рука А. Н. сыграет здесь решающую роль.

Не знаю на каком году жизни, но, по моему мнению, в расцвете сил, скончался один наш знакомый; а именно журнал «Интернациональная литература». Очень жаль — это была большая отрада. И много оттуда можно было узнать. А теперь ссылаются на сложность обстановки.

Я занялся интересным делом: переводом на русский

язык книги Валери «Взгляды на Современный Мир». Я сразу взялся за самое трудное, ибо язык Валери и в оригинале труден. Делаю это я для практики перевода, собственного удовольствия и для того, чтобы как-то почтить эту исключительно умную и тонкую книгу и ее замечательного автора.

Говорят, МГУ к августу будет в Москве. Т. к. ИФЛИ слился с МГУ, то мое место — там. И, может быть, с Митькой опять встретимся в Москве. Здесь очень надоело.

Ну, Алечка, кончаю и обещаю чаще писать, благо — каникулы. Пожелай добра. Целую крепко.

Твой брат Мур.

38

28/III-43 г.

Алечка дорогая!

Пишу тебе, так сказать, в каникулярном состоянии; — как уже писал тебе, весенние каникулы длятся с 25 <sup>го</sup> марта по 1 <sup>ое</sup> апреля. Признаться, я им рад: я не терплю точных наук, а они составляют 90% обучения в 10 <sup>м</sup> классе. Мне очень и очень скучно в школе; я давно перерос ее интересы, и линия, по которой я пойду в самом недалеком будущем, настолько ясно очерчена, что вышеуказанные 90% тяготят меня не только своею трудностью для усваивания, но также и полнейшей непригодностью; так что выходит так, что я просто теряю время ради бумажки: «аттестат за 10 классов»; на деле так оно и есть. И, держу пари, не получить мне этот аттестат: я так уж и вижу всю прелестную картину — директорша говорит мне: «Ну, собирайтесь»... (т. е. на работы), а я ей отвечаю, что не поеду по таким-то и таким-то причинам (о

которых ниже)... Директорша — рыжая, флегматическая, плотная женщина; преподает химию — возразит совершенно спокойно: «Тогда не получите аттестата». Тут, бесспорно, с моей стороны последует тирада о необходимости гуманного отношения к людям и о том, что надо же уметь различать обыкновенных лодырей и летяев от тех, кто действительно не может ехать. Всего вероятнее, химичка (у которой я едва вытянул на «пос») не будет вдаваться в эти «тонкости»... Впрочем всё это — «если бы во рту росли»... и т. п. Возможно что за меня постоит завуч (преподает математику) — постоит, конечно, не в силу моих успехов по ее предмету (тоже — «пос»), а потому, что когда я был в колхозе «Красный Хлопкороб» на сборе хлопка, то она смогла на опыте убедиться в моей малой сопротивляемости болезням и низкой выработке, тесно связанной как с этим свойством, так и с отсутствием талантов в отношении физического труда. И кроме того мы с ней вместе сетовали на отсутствие электроэнергии (был такой период в Ташкенте) и освещения — т. е. сетовала она, а я поддакивал, довольный тем, что отвлек от себя внимание путем этих поддакиваний. Постоит и литератор, и историчка — по понятным причинам: «такой культурный, знающий, толковый» и пр. и пр. Но что-то, все-таки, кажется мне, что не видать мне аттестата (точь в точь русская баба: «чует мое сердце, лопни мои глаза!»).

А не поеду я на Фархадстрой или в колхоз потому, во-1  $\text{х}$ , что во время моего отсутствия может притти вызов (поскольку заявление написано и послано в Москву, Толстой поддержит и всё больше и больше москвичей возвращаются восвояси), и это так, вероятнее всего, и будет, и рисковать не попасть в Москву из-за собственного отсутствия в Ташкенте я не могу. Основное — вернуться в Москву. Во-2  $\text{х}$ , мне не в чем ехать: нет ни одежды, ни

ботинок на смену, а я на опыте знаю, что там всё изнашивается буквально до нитки. А в-3 х, я там тотчас же, как по-писанному, изволю заболеть рожистым воспалением, учитывая мое предрасположение к этой болезни.

Ну, довольно об этих мрачных материях: я не оптимист, но скорее фаталист, чем пессимист: авось всё устроится, а не устроится — ну и чорт с ним, с этим «всем».

С большим увлечением занимаюсь сейчас переводом Валери, его книги: «Взгляды на Современный Мир». Перевод этот труден, потому что труден, как известно, язык Валери, но работа эта интересная и мне по-душе. И вообще, я лишь теперь понял, что, вероятно, моей основной профессией будет профессия переводчика. Я это дело люблю и уважаю, оно меня будет кормить, а параллельно с этим я буду писать свое. И до поры до времени будет действовать переводчик, а потом появится Автор с большой буквы. И впоследствии будут уже писать: «приобрел известность также в качестве переводчика ряда произведений, написанных...» и т. д. и т. д. Наивные мечты, верно? А вдруг они осуществляются?! Такое сейчас времячко, что даже вот так может всё повернуть, что мечта возьмет — да и осуществится, чорт бы ее подрал! Да и мечты-то у меня, на первое время,— вполне разумные. Их предел... о, их предел, увы, самый труднодостижимый, быть может,— никогда! Этот предел — спокойствие. Этот предел — уединение, возможность работать одному, чтобы никто не смел мешать и лезть со всякой белибердой. О Боже, сколько надо прочесть и перечесть, перевести, исследовать, подвергнуть критике, пересмотреть и низвергнуть, восстановить! И как всё это трудно осуществимо! В сущности, оттого я и стремлюсь в Москву, что там много книг, мне необходимых. Теперь я уже не могу откладывать: надо собирать материал, познавать

максимум и не останавливаться в самоуспокоении. Никакого «благородного пыла» во мне нет; есть только сознание того, что если я как-либо смогу крепко утвердиться на земле, то это будет именно в области литературы, перевода, критики. Начну с перевода, как с самого нейтрального и непреходящего; а остальное подождет до поры до времячка.

После того как ты мне написала об Эренбурге, я констатировал, что еще не читал ничего, кроме его статей, и взялся за роман «Не переводя дыхания» (действие происходит в Сыктывкаре в 1934 м г., впрочем, ты, может, читала.) Я с тобой согласен — неважно, неокончено, слишком бегло, слишком много скачков, слишком всё упрощено, а ведь материал богатейший! Отдельные удачи, а в общем, — несерьезно, тема третируется, и книга о Котласе и лесах писалась в Париже в течение 2х месяцев! (так и сказано в конце: Париж ноябрь 1934 — январь 1935 гг.!) А «Падение Парижа» не читал, хоть и хотелось: не достал. Сейчас читаю роман добротного Шеллера-Михайлова и хочу достать № 11 «Интерлита» — там роман Синклера: «Зубы Дракона» (он написал новую антифашистскую трилогию: «Конец мира», «Между двумя мирами», «Зубы дракона», действие происходит в 1913—1933 гг. в Европе и Америке; говорят, очень интересно; эх, если бы издали у нас все три романа!)

В Москве мой аппетит желудочный переключится на аппетит книжный: там не стоит продавец пирожков или конфет на каждом шагу, и жизненный импульс будет подхлестывать жажду познания, а не жадность к продуктам питания!

Ну, прощай, скоро напишу вновь. Целую крепко.

Твой брат Мур.

3/IV-43 г.

Алечка дорогая!

Довольно давно не получал от тебя писем; впрочем, быть может, ты меня избаловала их изобилием, и теперь мне малейший перерыв кажется чувствительным.

В конце каникул я ничего не нашел лучшего, чем вновь... заболеть рожистым воспалением — в пятый раз, начиная с осени 1942 <sup>го</sup> г. Правда, на этот раз всё обошлось в три дня: пресловутый «покой» и глотание таблеток стрептоцита сделали свое дело. Прошу тебя не беспокоиться о моем здоровье; в сущности, всё это — пустяки, и если я тебе и пишу о них, так это для того, чтобы ты знала всю, или максимум всей моей жизни. Не пиши Муле, что я тебе сообщаю о моих физических невзгодах: он меня съест, т. к. подумает, что такие сообщения тревожат тебя и затрудняют и так уж не легкое существование твое; я же уверен, что наш уговор «правда прежде всего», единственно он, делает нашу переписку осмысленной в отношении содержания.

Стоят с 1 <sup>го</sup> апреля очень теплые дни, совсем ташкентские. Люди начинают одеваться легче, больше пьют морс у киосков, больше болтаются по улицам. У кино — большие скопления народа. Продают семечки, папиросы, конфеты. Я люблю ходить гулять к вечеру, часам к 7; мой обычный маршрут: улица Маркса, Сквер, улица Пушкинская и обратно. По улице Маркса я выхожу из дому около Совнаркома и памятника Ленину; по правую руку — широкая площадь, которую я пересекаю, когда иду в школу. Потом я миную ограду сада Дома Пионеров, кино «Хива», ряд магазинов (галантерейный, ювелирный, коммиссионка, книжный, где я тщетно спрашиваю французские книги); перехожу

налево и заглядываю в распределитель (если до 6 ч.); потом продолжаю идти по длинной улице Маркса, прохожу около Глав универсама, превращенного в какое-то общежитие, около Русского Театра им. Горького (сейчас там идут всякие патриотические пьесы: «Нашествие» Л. Леонова, за которую он получил 100.000 — Сталинскую премию 1-й степени, «Всегда с Вами» А. Ржешевского и пр.). Прохожу мимо бюллетеней УзТаг'а (последние известия), к которым жадно прилипаю, если за день не успел их прочесть. Много идет по улице студентов с книгами и котелками для обеда, компаний девиц, рабочих, женщин в платках; идут скучные профессора и работники Академии Наук, интеллигенты, несколько разложившиеся в Ташкенте и болтающие лишь о том, что им сегодня не удалось получить свеклу в распределителе. Впрочем, торопливо семенит какой-то совсем маленький чеховский интеллигентик в пенсне; он судорожно сжимает в руке «Вестник Древней истории» и уж конечно интересуется он только древними дрязгами и ест как попало и что попало: в голове у него Шуйские и Сенеки, Русь и Византия, Греки и Римляне; в голове у него все те обыкновенные люди, которых отдаленность от нашей современности возвела в ранг Очень Интересных и Загадочных. Так и нас когда-нибудь будут изучать с охами и ахами. Прохожу мимо САГУ (Средне-Азиатского Гос. Университета) и выхожу на дорожку сквера. Гремит радио. На дорожке узбеки-продавцы продают папиросы, конфеты, семечки, бублики, пирожки с рисом. Привычным движением я потягиваю носом и прохожу прочь — что хорошо — или, наоборот, трачу последние гроши на какую-нибудь дрянь. Дорожка сквера выводит меня на Пушкинскую улицу — тоже длинную и «центральную». На углу — наркомат торговли, горком — напротив, дальше — распределитель, такой же как на ул. Ма-

рка; потом Наркомпрос и Управление по Делах Искусств при СНК УзССР, дальше — аптека, гостиница, Первомайская улица, на одном конце которой — Союз Писателей и столовая, на другом — дом, где жили Толстые.

Непрерывным потоком движутся люди. Тут и солидные москвичи, и ленинградцы из консерватории, и командированные инженеры с Урала, и вульгарные одесситы, и ростовчане, киевляне и прочая и прочая. Это — глубочайший тыл, и это-то и неприятно ощущать: все говорит о жратве и только о ней и днями пропадают на базарах. Я прохожу мимо бывшей балетной школы им. Тамары Ханум, теперь — здание Академии Наук; захожу на Главпочтамт в смутной надежде, что «вдруг письмо, деньги от кого-нибудь»; потом поворачиваю назад, возвращаясь домой.

Ох, Алечка, как мне здесь надоело, как я задыхаюсь, как хочется переменить воздух, уехать в Москву, в город настоящей жизни, прочь от этих ежеминутных разговоров о сахарной свекле, пайках и прочей дряни! Люди здесь, ввиду большого изобилия продуктов и малого количества денег в собственных карманах, заняты всякими ухищрениями, проникнуты стремлением — как бы не прозевать, что выдают в распределителе. По крайней мере я говорю так о тех, кого знаю — о средней интеллигенции. И я чувствую, что и я только об этом и думаю, и знаю, что это — по заражению от других. И потом я совсем один; не для кого ничем жертвовать, никого не можешь активно любить, никому не можешь активно помогать. Я часто-часто иду по улице до того опустошенный, и все внешние проявления жизни до того потеряли для меня всякий смысл: гудок автомобиля, хромой с палкой, афиша, ГЛАВСАХАР,— что я очень печально говорю себе: «В сущности, ты — труп, т. к. ничто не отвечает



в тебе человеку. Ты не смеешься, потому что то, что смешит других, тебя не может рассмешить; ты не грустишь, ибо, когда-то достаточно нагoreвавшись, ты перестал быть способным на это; ты интересуешься тем, что отстоит на колоссальном расстоянии или в километрах, или во времени, или в области мышления, от соображений и интересов тех, кто тебя окружает; а то, что интересует их и заставляет их выкидывать самые различные фортели, тебя не затрагивает. Друзей у тебя нет, близкие — недостижимы; перспективы будущего — самые зыбкие, самые неясные. Ты не связан кровно ни с одной группой, ни с одной средой; ты морально свободен от всяких пут; ты почти что спокоен; ты — почти умер». Но иногда ирония берет верх, и я разговариваю с воображаемым собеседником (чаще всего я подразумеваю Митьку), и мы с ним шутим и веселимся. Впоследствии я узнал (Чуковский читал свои воспоминания), что А. Блок в конце своей жизни говорил: «Я умер, я — труп». И еще одно совпадение — в трамвае, о людях: «Разве вы не видите, что всё это — обезьяны?!» А вообще — поэт огромный, какой «Соловьиный Сад», какие стихи о городе! А «Возмездие»! Я часто декламирую, вернее, — читаю вслух стихи Бодлера, Верлена, Валери, Маллармэ; они мне придают более силы, более бодрости, чем вся сахарная свекла на свете, о которой, кстати, вот сейчас опять заговорили у соседей (всё слышно). Сейчас читаю «Воспитание Чувств» Флобера. Перевожу Валери (прозу); мечтаю перевести Монтерлана; и Грина на французский язык. Хочется прочесть «Замок» Ф. Кафка, «Алису в стране чудес» и «Через Зеркало», «Жизнь М<sup>ме</sup> Кюри» и многое еще; всё это — в Москве. Курс на Москву! Мечтаю и о свидании с Митькой, раз должен приехать МГУ. Но всё это мечты. Они дают силу переносить скуку и гадость, мелочи жизни и пошлость людей. Ох, как злит, что надо притворяться,

что хорошо относишься к некоторым людям, и нельзя над ними насмеяться и сказать им правду в глаза!

Ну, пора кончать. Пиши мне обо всём.

Обнимаю крепко. Твой брат Мур.

40

15/IV-43 г.

Алечка дорогая!

Получил твое письмо от 18/III-43 г., очень ему обрадовался, т. к. довольно давно ничего от тебя не получал. Болел я рожей ноги — оттого и ходил с палочкой (причем болел 5 раз!) Но теперь это миновало, и я вновь шагаю исполинскими шагами если не на пути... к чему-либо, то во всяком случае по ташкентской мостовой, которая, кстати сказать, становится всё раскаленнее и раскаленнее с наступлением летней жары (хотя еще, собственно говоря, весна.)

Ты пишешь, что в противовес мне, тебе никогда не бывало скучно. Я несколько неточно выразился, говоря о «скуке». Вот что значит неосторожно пользоваться закоснелыми понятиями и обозначениями. Если угодно, то ощущение, о котором я писал, может быть названо по-разному: и скукой, и тоской, и грустью. Если бы я захотел возможно точнее определить природу этого ощущения, то я мог бы сказать, что это, — прежде всего, — чрезвычайно острое восприятие действительности (всей ее совокупности: прохожих на улице, разговоров, возгласов, выражений лиц и т. п.) как необъяснимого хаоса явлений; этот хаос порождает внутреннюю пустоту, которая сама дает начало грусти, сожалению о том, что уже сбылось когда-то, что уже вновь вряд ли сбудется... Настроение в течение дня меняется у меня

бесчисленное количество раз; самые незначительные явления, перерабатываемые игрой ума, определяют эти изменения, и случается так, что в предыдущую минуту голова была полна самыми черными мыслями, а в данное время чувствуешь себя бодрым и уверенным... Проклятая мысль! Постоянная ее работа очень затрудняет жизнь. Но, по крайней мере, я честен с самим собой,— и то хлеб.

Теперь о писателях. Эге-ге, мы с тобой «в этом плане» сразимся! Впрочем, это хорошо; все такие пресные и мягкие, что и «сражаться»-то не с кем, да и самому редко охота — к чему? А в данном случае это необходимо.

Ты пишешь, что у меня «очень не-писательский подход к жизни»: я-де мало наблюдаю жизнь, иногда в ней совсем не участвую. Откуда ты это взяла? Во-первых, я очень и очень пристально наблюдаю всё, что происходит вокруг меня — и я бы не был «критиком», если бы эти критические способности не основывались именно на наблюдении, на нахождении самого характерного и существенного в данном явлении. Это — раз. Второе — это то, что в жизни я «участвую» в такой степени, в какой это позволяют объективные условия. Сейчас я — ученик 10 <sup>го</sup> класса, скоро буду студентом, буду, вероятно, где-нибудь работать или подрабатывать, т. е. буду делать то, что является наиболее для меня разумным и целесообразным при учете всех условий существования. Как же я могу еще более «участвовать»? О жизни вообще — и в СССР и за рубежом я информирован очень хорошо (кто читает больше газет, чем я?!), сведения экономические у меня тоже наличествуют весьма полно, о мировых событиях я имею представление, как ты сама это понимаешь, тоже весьма полное, так что твой тезис «неучастия» проваливается. А играть в Горького, бросаться, очертя голову, в какие-то авантюры,— нет, мерси, себе дороже; каждый по

способностям,— ведь так, кажется, сказано; ну и верно.

В-третьих, ты пишешь, что писателю, плюс к уму, необходимы страстность и «спонтанность». Это — неверно. Что, по-твоему, страстны А. Жид, Валери, Монтерлан, Хаксли, С. Льюис, Ж. Ромэн? «Спонтанны» они? А Флобер, наконец? — А ведь всё это — большие писатели. Жизненный опыт,— да, пожалуй, он необходим; но ни страстность, ни «спонтанность» (sic) \* не являются необходимыми качествами писателя.

В-четвертых, ты пишешь: «Писатель в первую очередь пишет, пишет, т. к. не может не писать. А потом читает, сравнивает, анализирует». Почему не допускать у писателя большей доли «сознательного отношения» к труду, почему представлять себе писателя, обязательно облаченного в тогу вдохновения и страдающего непреходящей болезнью графоманов: чернильно-словесным недержанием? И потом, в отношении меня, дело обстоит вóт как: я, бесспорно, буду писателем. Но, конечно, не сейчас. Я неустанно повышаю свою культуру (чтение), веду подготовительную работу к будущей книге (для «пробы» я написал две ее первые главы)<sup>1</sup>; эта работа выражается в ведении дневника<sup>2</sup>, в составлении заметок. Для написания книги необходим период спокойствия, в течение которого события перестанут влиять на нашу жизнь так, как они это делают сейчас, и такое необходимое «внешнее» успокоение породит не менее необходимое успокоение внутреннее: тогда, может быть, можно будет производить качественный анализ явлений, а не только количественный, и будет почва более тверда под ногами, нежели сейчас. Но подготовку я веду; она обязательна. Конечно, не надо в этой области впадать в крайность: в этом отношении гениален образ отца героя романа

---

\* Так! (лат.)

«Контрапункт»<sup>3</sup> — Сиднея Куорлза, помнишь? Он всё так и продолжал до самой смерти «собирать материалы», а книгу и не думал написать. Чрезвычайно удачен и «жизненен» в этом романе эпизод с диктофоном и мнимой смертью Сиднея Куорлза.

Что касается подражательности,— согласен. Это неизбежно и бесполезно. Вот, например, я написал сочинение (то самое монументальное) на тему: «Какими душевными качествами должен обладать молодой человек, вступающий на путь самостоятельной жизни?» Тема старомодная, но все-таки — ничего, написать можно. Я так увлекся этим сочинением, что целый день писал, не замечая, как пролетает время. Сочинение получилось хорошее, толковое; была написана целая тетрадка (15 страниц) и всё произведение было разделено на 8 глав (одноклассницы ужасались: «Как ты мог — столько?») А я коварно усмехался, предвкушая «отлично!» И это сочинение написано под влиянием Валери! Как я уже писал тебе, я занялся переводом его книги, и вот, бессознательно, некоторые из его идей перенес в сочинение (правда, несколько их преобразив.) Но я горжусь таким влиянием, ибо всё больше и больше люблю и понимаю Валери.

Вообще, в области истории Литературы, я всё больше прихожу к выводу о коренной необходимости пересмотра (вернее, о необходимости коренного пересмотра!) той главы, той части, которая трактует о современной французской литературе. На материале некоторых современных произведений можно проследить тот путь, который привел к поражению Франции; современная французская литература — *золотая жила* для исследователя литературного и исследователя общественно-политического. И я твердо намерен взять монополию на этот Клондайк. Это — *моя* область.

Что тебе писать о конкретной моей жизни? Ведь конкретное — это, пожалуй, наименее существенное, и именно тут-то и можно говорить о «форме и содержании», что совершенно недопустимо для литературы (как очень верно доказал это Жирмунский в свое время.)

Встаю я часов в 8—9; учусь (более или менее интенсивно, смотря по угрозе опроса и собственному настроению); потом приходит молочница-узбечка, у которой я прикупаю хлеб, и следуют разговоры о продлении кредита, «деньги будут завтра» и т. д., причем если долги растут, а денег нет, то я ухожу «гулять» и молочница остается перед лицом «совершившегося факта» замка на двери, что не мешает ей, несмотря на горький опыт и по собственной глуповатой алчности, давать «хлебные изделия» мне в кредит (ей за молоко дают хлебом, булками, а ей нужны деньги, и она мне и продает эти «изделия».) Вот-с. Потом иду посмотреть, есть ли что в распределителе, занимаю, если что, очередь, смотрю последние известия, захожу в букинистический магазин, захожу в «столовую для эвакуодетей и сирот» (неважная, но все-таки сэ тужур са<sup>4</sup>; устроил через Наркомпрос); оттуда — домой за книгами — и в школу, где скучаю и острою. Вечером съедаю обед из столовой Союза и иду совершать вечерний моцион до Почтамта. Потом возвращаюсь, читаю с час, и часов в 11—11.30 — ложусь спать. Мне эта жизнь несколько надоела; конечно, в Москве, вероятно, будет хуже с питанием (хотя и здесь-то не ахти как), но там будет шире круг интересов, там будут любимые книги. Из нашего дома многие уже уезжают в Москву; я тоже надеюсь в мае-июне уехать отсюда. Всё может быть, апрэ туй!<sup>5</sup>

Кончаю, Алечка; целую крепко. Пиши обязательно. Твой брат Мур.

20/IV-43 г.

Алечка дорогая!

Получил сегодня твое письмо от 23/III. Долго идут, однако, письма! Но и то хорошо, что идут.

Ты пишешь о звездах... Очевидно, в связи с тем, что мои галоши протекают, также потому, что настроение мое теснейшим образом связано с климатическими изменениями, я привык всегда радоваться звездному небу, предвещающему хорошую погоду и отсутствие дождя. Кстати сказать, я не переношу неизменных рассуждений о человеческом ничтожестве перед всеми этими звездными «мирами»; обычные мещански-интеллигентские разговоры о нашем мире как «песчинке», пылинке (по сравнению опять-таки с этими «мирами») кажутся мне глупыми попытками создать какие-то удобные философские суррогаты, доступные для всех — и особенно для самых ничтожных людей. Ни чрезмерное возвеличение, «раздувание» человека («песчинка») и упивание своим собственным ничтожеством не приходятся мне по вкусу. Ибо всё же мерилом остается лишь мой вкус — и ничего более. Нравится, не нравится — и баста. Охотно буду доказывать, что прав именно я, еще более охотно откажусь от выдвигаемых мною пять минут тому назад положений. Ибо, прежде всего, я сохраняю за собой право выбора; ибо, прежде всего, я свободный человек, и в своем внутреннем мире могу отвечать лишь перед собственной совестью. Я ничего не утверждаю и ничего даже не предполагаю; я лишь высказываю определенные суждения, оставляя за собой право считать их относительными в отношении правильности, но зло защищая их против нападок извне — т. к. эти нападки происходят по

большей части со стороны людей, не имеющих достаточно ни прав, ни оснований для их производства.

Что тебе сказать о моей жизни? Как это ни грустно, но приходится признаться, что, несмотря на огромное количество приобретенных знаний и опыта, я остаюсь приблизительно в таком же положении, как 4, 5, 6 лет тому назад. Как и в те годы, я одинок, не имею друзей и среды. Как и в те годы, хожу по улицам и наблюдаю, что происходит вокруг меня. Сейчас я меньше смеюсь, меньше (гораздо меньше) развлекаюсь, меньше ем и больше хлопочу о делах материальных. Но, в общем, ощущения всё те же (минус увлечение прекрасным полом, происходящее от лени и чересчур развитого в этом отношении «критического вкуса».)

Но зато взгляд мой на всё это — иной; жизнь свою я воспринимаю в литературном плане, и всё в ней служит материалом для будущего романа. Каждая фаза моей жизни превращается в главу будущей книги. Не надо ничего забывать, возможно больше наблюдать. Моя цель (главная, разумеется) — книга. Она, эта книга, ни одна строчка которой еще не написана, будет медленно зреть и принимать определенные очертания. Я не тороплюсь; всё в свое время. Но процесс усвоения и переработки идет и идет, и лишь последняя точка перед словом «конец» завершит его окончательно.

Надежды на какие-то счастливые моменты в жизни, бесспорно, есть, но на них базироваться нельзя; увы, надо быть трезвым и даже злым; а быть злым противно, когда не слишком злишься: всякая игра мне претит.

Возможно, что ты весьма скептически относишься к моим писательским способностям. На это отвечу — ни в коем случае не суди по письмам. В моих письмах к тебе я совершенно не забочусь о форме и не рассматриваю письма мои как произведения литературы.



Тебе пишу быстро, порой неряшливо, всегда откровенно. А произведение искусства (роман, рассказ) в моем представлении рождается, вернее, должно рождаться, очень медленно. «Тысячи тонн словесной руды»... И не только словесной, а руды фактов приходится отбрасывать, а это требует времени.

Возможно, что ты считаешь меня эгоистом. Да, я эгоист, т. к. думаю преимущественно о себе самом, но эгоист не в плохом смысле этого слова: я способен на самопожертвование, способен помогать и отказываться в пользу другого. Но не в пользу человека случайного, тем паче, не в пользу каждого. И опять-таки я оставляю за собой право выбора; ничто не обязательно.

Я замечаю, что я слишком много пишу о себе; но это лишь следствие моего одиночества, одно из следствий его. Не думай, пожалуйста, что я безразличен к твоей судьбе. Я очень часто думаю о тебе, я очень тебя люблю и уверен в том, что ты сумеешь всё перенести и впоследствии выплыть на поверхность как ни в чем не бывало (внешне). Но я не люблю об этом писать; всё равно ничего в словах не выразишь и не прибавишь.

«Мысль изреченная есть ложь».

Написал колоссальное сочинение на тему: «Какими душевными качествами должен обладать молодой человек, вступающий на путь самостоятельной жизни». Колоссальное по размерам — целая тетрадь. Сочинение произведет эффект, что и требовалось доказать. Я там орудуя таким языком, абстрактность и трудность которого и не снились учителю.

Погода у нас установилась солнечная, даже жаркая; хожу уже без пальто и фуражки. Появился зеленый лук. В огромном количестве, т. к. она дешева и доставляется большинством организаций, потребляется населением сахарная свекла. С ее соком пьют чай, едят ее в вареном

виде с солью, в винегрете, делают из нее икру, начиняют ею пирожки, вместо повидла. Но я с ней дела не имею: она страшно долго варится, а что-то с ней комбинировать, \*; да и к тому же нужно ко всему масло, а оно, когда и бывает у меня изредка, то очень быстро расходуется.

Жизнь провожу за бегом по «пропитательным делам», чтением, хождением в школу. В сей последней — скука. Очень трудно даются математика, физика. Учусь с большим отвращением. Питаюсь скачкообразно — то хорошо, то плохо; вообще предпочитаю совсем ничего не съесть, чем съесть мало, а то аппетит дьявольски начинает давать себя знать. Впрочем, всё сосредотачиваю на покупке хлеба; это — главное.

У нас в доме многие уезжают в Москву; что-то кажется мне, что я останусь, в итоге этого, один-одинёшенек в Ташкенте. Уезжает и Академия Наук. Хотелось бы верить в собственный отъезд, да как-то не получается (не верится.)

Читаю замечательный «Успех» Л. Фейхтвангера. Прекрасная вещь. Прочел «Воспитание чувств» Флобера; тоже превосходное произведение.

Пора кончать. Пиши, Алечка. Целую крепко.  
Твой брат Мур.

42

2/V-43 г.

Алечка дорогая!

Поздравляю тебя — хоть и несколько запоздало — с 1<sup>м</sup> Мая. У нас в Ташкенте парад не состоялся, — и демонстрации также не было; зато народа было на

---

\* Несколько строк вычеркнуто цензурой. — *Ред.*

улицах очень и очень много, все приоделись, принарядились; много было смеха и улыбок, и крику и гаму (или крика и гама?) Были лозунги и украшения, плакаты — всё как следует. Открылись парки. Я провел день в беготне; сегодня, вероятно, тоже придется бегать по хозделам.

С большим интересом и удовольствием читаю «Бесов». Замечательно! После «Бесов» перечту прекрасные новеллы Томасы Манна, прочту «Время, вперед!» В. Катаева, перечту «Холостяков» Анри де Монтерлана.

Сообщил ли тебе, что мое заявление о возвращении в Москву передано в Союз Писателей с письмом Алексея Николаевича? Секретарь Союза Скосырев обещал меня включить в первый же список возвращающихся в Москву писателей. Не знаю, как к этому отнестись — «верить аль не верить»; пока всё это — лишь слова, да и только; но предполагаю, что письмо А. Н. определит осуществление этих слов на практике. Но строить какие-либо предположения, иметь какие-либо планы на будущее мне невозможно, — и я живу сегодняшним днем, нимало не беспокоясь о том, что может произойти впоследствии. В самом деле: всё может быть. Во-первых, меня могут в любую минуту мобилизовать по военкомату в трудовую (то самое «особое распоряжение», о котором говорится в приписном свидетельстве). Во-вторых, я отнюдь не уверен в том, что выдержу выпускные экзамены, на которых 90% занимают ненавистные мне точные науки: математика трех сортов (алгебра, тригонометрия, стереометрия), физика, химия. Надеюсь лишь на то, что мои успехи в истории и особенно в литературе, то, что я много болел и призывался, что мне очень помешало в учебе; то, наконец, что я живу один и вынужден иметь дело со множеством хлопот, с которыми другим одноклассникам сталкиваться никогда не приходится, — всё это, я думаю, вернее, надеюсь, должно уравновесить мои неуспехи в об-

ласти точных наук. Но я в этом не уверен, как не уверен ни в чем. В-третьих — вопрос о работах (сель.-хоз., строительства и пр.) Окончив школу, мне ведь надо будет поступить в какой-нибудь ВУЗ в Ташкенте — а вдруг я не получу вызова в Москву, и пропускать срок приема в ВУЗ бессмысленно. До конца экзаменов я вряд ли получу вызов в Москву — и тогда определиться в какой-либо ВУЗ будет необходимо. Определившись же, допустим, в САГУ (Ср.-Аз. Гос. Университет), я буду, естественно, подлежать общему порядку мобилизации на летние работы. Пропуская даже то, что ехать мне на работы *абсолютно* не в чем и что, поехав, я вынужден буду вернуться в Ташкент оборванцем, что ненавижу и чего боюсь; кроме даже этого ведь я рискую тем, что вызов придет, меня не будет, эшелон отправиться в Москву, — а я приеду из колхоза или со строительства «на пепелище» и уж конечно не станут беспокоить Толстых второй раз о вызове (вызов действителен на некоторое время) — ибо они прекрасно смогут сказать: «Проворонил отъезд, братец, мы сделали, что могли, а теперь пеняй на себя!» С другой стороны не ехать на работы — скорей всего исключат из ВУЗ'а; а если вызов не придет совсем, что я буду делать? Останусь с носом, без Москвы и без ВУЗ'а, как суший дуралей. Как видишь, положение запутанное, и, главное, все дадут разные советы при консультации — и не знаешь, кому поверить, ибо, действительно, тут важно «не промахнуться».

Но я пока, до времени, придерживаюсь политики страуса. Много читаю, занимаюсь пустяками (издание альманаха). Кстати об альманахе: в хлопотах о его выпуске я усматриваю прообраз будущих издательских и авторских хлопот! Бумагу достали хорошую, эстонскую; — вернее, ее дает наш художник-оформитель, он же дает несколько портретов, которые «оживят»

альманах и сделают его литературно-художественным. Он же и оформит альманах, переплетет, напишет титул. Но тут — расхождения начинаются! Он хочет чтобы титул шел диагонально снизу вверх — а я называю это бесвкусным и утверждаю, что это годится лишь для альбомов с фотографиями, что это «конфетно» (тем более, что титул будет написан буквами из станиоля, фу!). Предлагаю свой контр-проект: название альманаха — сверху вниз в середине крышки, по вертикали. Другим, меньшим шрифтом (курсивом), наверху горизонтально: литературно-художественный альманах, а внизу, под названием, тоже горизонтально, Ташкент 1943 г. А он не хочет, говорит: вычурно. Наконец, порешили всё написать горизонтально — ни по-его, ни по-моему! Так как он выполняет значительную часть работы: дает бумагу, переплет, хорошие портреты, то надо помещать его плохие стихи, и моя душа ответственного редактора ноет, ноет! Кроме того, ужасно хочется «протащить» в альманах максимум своей собственной литпродукции, а места мало, и другие, вероятно, заартачатся. Кончится тем, что каждый выпустит свой собственный «альманах»! И как всюду и как всегда, не хватает организованности: даже еще не было общего собрания, на котором бы порешили сроки сдачи материала и выпуска альманаха. Вообще это — глупейшая затея, но я ею тешусь и упиваюсь сознанием того именно, что тешусь такими вот глупостями в то время как мог бы писать, если было бы время, интереснейшие статьи по западной литературе. Но всему свой черед, и в Москве я разверну свою творческую деятельность, благодаря обилию материала.

А теперь буду читать «Бесов». А потом пойду «бегать». Не вини за то, что пишу лишь о себе. Очень тебя люблю и крепко обнимаю.

Твой брат Мур.

7/V-43 г.

Алечка дорогая!

Позавчера получил твое письмо от 29 <sup>го</sup> марта. Я продолжаю по-прежнему жить в Ташкенте на том же месте; учусь в 10 м классе, который надеюсь окончить. 1 <sup>го</sup> июня начинаются выпускные экзамены — до 1 <sup>го</sup> июля. Экзамены будут по всем предметам, что не устраивает многих (в том числе и меня). Впрочем, я спокоен, что вряд ли слишком явно провалюсь — успехи в гуманитарных науках компенсируют неудачи в науках точных. Кстати, все кроме меня боятся лишь 3 х предметов и толкуют о том, что «обязательно засыплются» по ним: это история, литература и иностр. язык. Как раз то, что мне нипочём! Итак, пока что продолжаю учиться.

Насчет возвращения в Москву дело обстоит неясно и, в сущности, кроме обещания Скосырева включить меня в список ближайших возвращающихся, я ничего не имею. Впрочем, через некоторое время, я напишу Людмиле Ильиничне, чтобы она «провернула» это дело; впрочем, всё равно раньше, чем через месяца полтора я не уеду, ибо все-таки важно окончить 10 классов. Да и до этого срока вряд ли что-либо и выйдет в плане вызова, пропуска и пр.

По-прежнему много читаю. Прочел удивительных «Бесов» (по прочтении их остается сказать лишь: колоссально!), прочел «Холостяков» Монтерлана; очень талантливый писатель, и я мечтаю перечесть «Девушек» и следующие книги этой серии <sup>1</sup>. Мне Монтерлан симпатичен, меня интересует его путь. Читала ли ты его книгу «У истоков желаний»? Страшно хочется познакомиться с творчеством Рембо, Аполлинера, Лафорга, Пеги, Клоделя, хочется перечесть книги Сименона, вновь и вновь

почитать Валери и проникнуться его умом — и восхищаться тем, что он пишет. Нет ни одного писателя, которого я бы так уважал и любил, как его. Он и первый поэт, и первый критик и эссеист, и первый знаток искусства, и тончайший политик... А какой язык! Н-да-с, всё это так, но лишь в Москве я смогу полностью насладиться моими любимыми авторами и полностью заняться изучением французской литературы. И то там маловато материалов; но уж, конечно, больше, чем здесь.

Я страшно жаден до некоторых книг. Может, я тебе говорил, что в 1939 м г. на меня произвел ошеломляющее (буквально ошеломляющее) впечатление один роман, который и до сих пор является моим любимым произведением литературы: это роман Ж.-П. Сартра «Тошнота». Я, как дурак, не купил его тогда — то ли не было денег, то ли думал, что найду этот замечательный роман в московских библиотеках (вернее всего — и то и другое.) Так или иначе, но я его не купил. И не удалось прочесть сборник рассказов этого же автора «Стена». Как сейчас помню — прохожу по Буль'Мишу перед витриной книжного магазина (недалеко от улицы Суффлó) и смотрю, чуть ли не облизываясь на две эти выставленные книги...<sup>2</sup> В Москве я ни той, ни другой не нашел. Впоследствии Сартр получил «при популист» за эти две книги,— т. е. они пользовались небывалым успехом. Как мне хотелось, о Боже как мне хотелось прочесть одну и перечесть другую! Я каждый день хожу в букинистический магазин в Ташкенте. Я, конечно, не думаю найти там эти книги, но если я думаю о чуде, то именно и всегда в отношении этих книг. Самое большое счастье, которое я могу себе представить — это даже не приобрести эти две книги, а хотя бы перечесть одну из них. Недавно мне приснилось, что я перечитываю «Тошноту», причем всё происходило, как наяву: я читаю, причем «узнаю» вновь начало

каждой главы, читаю, радостно проникаясь ощущением, что я вновь вхожу в какие-то родные двери, иду по родной дороге! Я проснулся, вспотев, и ужасно, конечно, злой и разочарованный. Суждено ли мне когда-нибудь перечесть мой любимый роман? Прошло четыре года, а он действует: вот уж «замедленное действие!» Я считаю этот роман чрезвычайно интересным и показательным, считаю настоящей вершиной современной французской литературы. Как я мечтаю написать целое исследование этого романа! Я даже помню последнюю строку романа — так сильно она мне врезалась в память: «Идет дождь над Бувиллем». В этом романе, если говорить конкретно, описывается жизнь, вернее период жизни какого-то архивариуса в городе Бувилле (очевидно, — в Гавре). Прогулки, работа, встреча с любимой когда-то женщиной, кафэ. В конце концов он уезжает в столицу. Вот внешняя канва романа. Но он ценен своим психологизмом — таким раскрытием человека, его внутреннего мира, таким его показом, ох матушки-батюшки! Из всего мною прочитанного, этот роман оказал на меня самое непосредственное и прямое влияние. Мне ничего не надо — дайте только его перечесть. «Тошнота» Сартра, потом «Богатые Кварталы» Арагона, «Путешествие на край ночи» Селина и «Фальшивомонетки» А. Жида — вот мои любимые книги, причем Сартр возвышается над всеми ими. Кстати он — профессор философии.

Писал ли я тебе о нашем альманахе? Он-таки выйдет, несмотря на инертность членов редколлегии. Материалы я собрал, художник-оформитель есть, бумага есть; мне же и переписка поручена. Долго искали название. В конце концов я «протащил» самое подходящее: «Улисс». А то художник предлагал: «К мастерству»! А так — и Джойс и мифология, очень хорошо. Альманах сам будет не ахти, но ничего.



Ну, Алечка, ó-ревуáр. Желаю всего, всего хорошего, главное — здоровья. А мне пожелай — Москвы, и когда-нибудь найти «Тошноту» (sic)!

Крепко обнимаю. Твой брат Мур.

44

11/V-43 г.

Алечка дорогая!

Вчера получил твое письмо от 17/4-43 г. Пусть мое «молчанье» тебя не тревожит, ибо это не молчанье, а просто, вероятно, почтовые темпы. Я давно выздоровел от всяких рожистых воспалений, давно получил твои 100 рублей. На них можно купить 10 баранок или 2 кг картошки,— 170 г масла или пять венских булочек; как видишь, они мне весьма были полезны.

От тебя узнал про Алёшу; любопытно! Мулька мне ничего об этом не писал. Впрочем, мне несколько (даже очень) досадно, что такому балбесу повезло; впрочем, это — старая истина: дуракам счастье<sup>1</sup>. Но, все-таки, мириться с ней неприятно — ибо мы, как-никак, умные люди!

Да, у нас — «совсем тепло и солнечно». Погода такая прекрасная, что сама по себе доставляет радость. Все улицы засажены деревьями, и проходишь иной раз под лиственным куполом. Весь город пропах акациями, что напоминает мне известные стишки о белых акациях, цветах... и т. д.

Иногда думаю о нелепостях: эх как было бы хорошо притти как-нибудь в школу в новом костюме, заткнуть всех к чорту за пояс! А то мое летнее одеянье следующее (впрочем, оно и зимнее, и какое угодно): синие рабочие брюки, черная спецовка навывпуск с кожаным поясом,

полосатая матросская майка, ботинки, начинающие разлезаться на все четыре стороны... И я глупо мечтаю «всех заткнуть за пояс», появившись вдруг, одевшись с иглочки. Точно так же я мечтал лет пять назад, что доказывает, что я не очень-то подвинулся вперед. Я неизмеримо выигрываю от хорошего костюма, а Ташкент — город шикарно одетых людей, и как-то странно мне ходить вот так одетым. Может — сила привычки, вследствие которой я чувствую себя в сто раз увереннее в соответствующем одеянии. Так-то так.

Живу спокойно (более или менее), чему благодарен судьбе. Учю уроки, читаю книги, делаю альманах, готовлю доклад, пристально слежу за событиями. Как и несколько лет назад я был всегда всеобщим «рупором новостей», так и сейчас: стоит мне появиться, как все начинают спрашивать, что происходит в мире, что нового и т. д.

В общежитии ко мне всё не могут найти устойчивого отношения. В общем, если всё суммировать, то — бояться. Даже недавно мне передали, что на вопрос: как вы воспринимаете такого-то, одна пожилая особа (сестра, нет, вернее — дочь Чуковского) ответила: я его боюсь. Все признают мою начитанность и культуру (я не хвастаю; ведь я, все-таки, выше среды общежития) и отдают первенство в вопросах политики и международного положения. Но когда мне случается с кем-либо заговорить, то наипервейшее выражение лица собеседника — какое-то пойманное, смутившееся. Так — даже с учителями (с большинством) в школе. В общем, можно прямо сказать: в общежитии меня не любят. Но бояться почему-то, и каждый раз, когда хотят сделать гадость, то делают ее возможно более окольными путями; например, никогда ничего не говорят в лицо, в то время как с той же моей соседкой (а ей уж 60 лет!) не церемонятся. Казалось бы —

«юнец», «научить», «чего миндальничать», и пр., а выходит — почему-то нет, не так!

Я совсем не похож на остальных; я очень зол на язык; трудно понять, что мною движет; трудно добиться от меня «доброе слово»; всех смущает, что при всём том плохом моем материальном положении, которое наличествует, я кажусь беззаботным и даже вылечиваюсь от болезней, продолжаю учиться. Хотелось бы, чтобы я заболел всерьёз, чтобы меня мобилизовали на завод — тогда можно было бы и пожалеть, и почесать кстати языки: а то ни за что не ухватишься, а всем хочется мелодрамы. Смущает также мое упорство в достижении цели, раз намеченной, смущает то, что «облапошить» меня никак нельзя. Смущает отсутствие «юношеских пороков»: отсутствие девчонок, вечеринок, патефонов и прочих атрибутов среднего молодого человека. Смущает не-куренье папирос, не-пристрастие к вину.

Им и жалко меня, и опасно как-то. И хочется и колется.

Пусть колется; они правы; они чувствуют, что я отнюдь, о отнюдь! не симпатизирую ни к кому из них; они чувствуют, что я всех их ни на грош не ценю и презираю от всего сердца. И когда я чего-нибудь прошу — никто мне не отказывает (нельзя! неудобно!), нельзя же основываться на догадках и предчувствиях. А за спиной ругают! Да, я мещан не люблю; увы — это так.

1 го июня начнутся испытанья; будут они длиться до 1 го июля. Думаю, что их выдержу. Делаю быстро обрывающиеся и прекращающиеся знакомства; в общем, одинок как и прежде, как всегда. Это — не трагедия, но противно и досадно.

В театр и в концерты не хожу (я понял, что если я ходил когда-то в них, то лишь, чтобы прогуливаться

в антрактах, рассматривая дам и демонстрируя благородную голову на фоне рыжего костюма; это был «свет».) А теперь костюм — тю-тю, и ходить незачем. В кино хожу. И вообще предпочитаю кино.

До свиданья, Алечка. Целую крепко.

Пиши. Твой брат Мур.

45

14/V-43 г.

Алечка дорогая!

Пишу тебе вновь «с одра болезни»: опять на несчастной ноге та же рожа корчит гримасы. Попринимаю стрептоцит — и мигом пройдет. Кварцем я лечил, но радикальным это лечение не оказалось. Нет времени серьезно заняться своим здоровьем, да и сейчас, к тому же, всё объясняется недостатком калорий, и те советы, которые даются, невыполнимы на практике. До смерти М. И. я никогда не болел серьезно; по природе совсем немогучий, я пребывал в равновесии здоровья благодаря хорошим общим жизненным условиям; теперь же природа мстит и показывает себя. Недостаток калорий, ничего не поделаешь!

Впрочем я, со свойственной некоторым циникам ясностью взгляда, почти что уверен в том, что мое психическое состояние, всё мое мироощущение и поведение обуславливаются именно этим самым «недостатком». Ведь я раньше был другим — энергичным, упорным, падким до удовольствий. Смешно сказать, но уверяю тебя, без всякого хвастовства (я, к счастью, полностью изжил это чувство): сколько девушек хотело бы завязать со мною интрижку! Было б это в 1940—41 гг., я себе

ясно представляю, как быстро я бы втянулся в этот омут. А теперь я в себе не чувствую никаких сил для «авантюры»: они мне представляются ненужными, скучными, пошлыми. И когда я смотрю на некоторых сверстников и сверстниц, бегающих с высунутым языком, мне становится приятно, что я хоть этого-то избежал, всей этой любовной кухни сплетен, улыбок, провожаний и прочей дряни. Всё это, по-моему, происходит от избытка сил; а когда кричит желудок, то всё остальное отходит на самый задний план. А стоит мне поправиться — и я стану таким же балбесом, как и остальные. Я и пессимизм мой, и приступы отчаяния и пустоты, и неспособность на чем-либо серьезно сосредоточиться и чем-либо серьезно увлечься объясняю всё теми же чисто-физическими причинами (не только ими, конечно, но в значительной части). Все обстоятельства моей предшествующей жизни, сложенные вот с этими расслабляющими обстоятельствами физического порядка, и определяют собой тот факт, что я просто-напросто барахтаюсь в жизни, и то что мне мешает окончательно потерять рассудок — лишь надежды да воспоминания, в сущности.

15/V-43 г. Сегодня уже выздоровел и по сему случаю гулял по городу. Пошел на почту, в столовую, зашел в литкружок при ЦДХВД, руководимый женой — кажется, первой — Мандельштама. Эта женщина — длинноногая, с выдающимися скулами, с толстенными губами и кривоногая. Эх, потеха! Говорит она проникновенно, взрывами (я смеюсь: поэтический мотоцикл!) Бесконечные разговоры о стихах, искусстве, жизни, войне, родине, чувствах, культуре, прошлом, будущем, чести... Уф! И всё это — с большой буквы. Неизлечимая интеллигенция, всегда ты будешь разглагольствовать! Я ненавижу все

эти словопрения; *только* опыт жизни, жизненная практика может чему-либо научить, а говорить с 16—18-летними детьми о таких серьезных материях — пустое и ненужное дело. И я стараюсь придать легкий тон всем этим нелепым заседаниям, пуская шуточки, остря и смеясь напропалую. Лучше смеяться, чем переживать — и мой легкий скептицизм и природная склонность к иронии всегда разряжают атмосферу, насыщенную драконами, на которых написано: «ИСКУССТВО», «ЖИЗНЬ» и пр. и пр.

А в общем, Алечка, а в общем... Ну да, ты уже, конечно, знаешь — а в общем, скучно. И пусто. Надеюсь я всё на какое-то моральное возрождение, которое меня выведет хоть сколько-нибудь из лабиринта собственного «я», в котором я блуждаю, не находя выхода, без света и радости.

Необходима Москва; насущна эта перемена декораций. Мне осточертело сидеть на одном месте; я здесь совсем скисну от одиночества и скуки.

Прочел прекрасные новеллы Томаса Манна, замечательные «Холостяки» Монтерлана, интересное «Дамское Счастье» Золя. Попытался прочесть «Время, вперед!» В. Катаева, но на 50-й странице бросил — халтура, гадость. Сейчас читаю Писемского. Обещают «Идиота» принести.

Ну тэк-с. Сумерки. До свидания, Алечка, целую крепко.

Твой брат Мур.

Письмо нелепое, но это из-за плохой бумаги: не могу писать.

26/V-43 г.

Алечка дорогая!

Прости, что долго не писал; вина тому — вплотную надвигающиеся выпускные экзамены, неумение писать письма вечером, беготня по хозяйственным делам и усталость, результирующая от повседневной суматохи. Мне так надоели точные науки, что я ежедневно засыпаю в школе на несколько минут, потом опять просыпаюсь — и начинаю сначала. К вечеру я возвращаюсь домой более утомленный, чем от беготни по городу. Сегодня, т. к. имею почти по всем предметам четвертные оценки, я решил воздержаться от посещения класса; тем лучше я завтра примусь за работу, сделав в ней перерыв.

Испытания меня не очень пугают; основное — чтобы дали аттестат. Думаю, что преподаватели учтут мои успехи по гуманитарным наукам и потому, видя, в какую сторону я пойду в будущем, не будут слишком строги в отношении оценки моих знаний по остальным предметам. Так что всего вероятнее — аттестат за 10 классов мне дадут, а это — главное.

У нас объявлена поверочная регистрация всех военнобязанных, призывников и т. д.; я ей подлежу; думаю, что она вряд ли внесет какие-нибудь изменения в мои планы и расчеты; впрочем, всё может быть.

Лидия Григорьевна на днях с Дейчем уезжает в Москву; вообще все уезжают туда. Я же еще не знаю, включен ли я в список Литфонда или Союза Писателей, и если да, то когда пришлют пропуск. Уезжает на днях также вся Академия Наук, в том числе и 3 профессора, живущие в нашем доме: Цявловский, Благой, Бродский (один — с седой бородкой, другой — лысый в очках,

третий — с закрученными усами и пенсне.) Они поедут все целым поездом. Москва, Москва! Сильнейшим образом туда, пожалуй, надо возвращаться. Но я фаталист и скептик, и потому не сетую на судьбу, задерживающую меня здесь. Написал письмо Людмиле Ильиничне; по моим соображениям это письмо ей должно понравиться и побудить ее к действиям полезным делу моей ре-эвакуации.

От Митьки по-прежнему ничего не имею. Что с ним такое? Вероятнее всего — ничего особенного, просто трудно живется, да и сам он довольно-таки легкомысленный и, думаю, не так уж ценил нашу дружбу. Но если он будет в Москве (и если я, конечно, там буду), то ничто не помешает нам возобновить наши отношения; мы нужны друг другу, ибо имеем слишком много общего, чтобы долго не видеться.

Прочел хлесткую и занимательную книжку Эренбурга: «Трест Д. Е.»; наверное, читала. Сейчас читаю «Падение Парижа»; поверхностно, все-таки; опять-таки — материал для романа, а не роман; очень малохудожественно. Но интересно; видно, что человек знает хорошо то, о чем он пишет; масса верно подмеченных черточек. Но всё же общее впечатление — недостаточно глубокого, серьезного, вдумчивого отношения к теме, недостаточно последовательной и упорной проработки ее.

Был в кино, видел английский фильм «Леди Гамильтон»<sup>1</sup>; американцы сделали бы лучше, пожалуй; а здесь всё уж чересчур скудно, даже скромно (вернее — наоборот.)

Живу я как птичка, как былинка, живу очень странно; даже мне самому смешно. Ботинки дырявые, одет как рабочий, говорю о Валери, бегаю по базару и хожу в школу! Суший бред, в котором я сам, главный участник и солист, мало разбираюсь.



Самое тяжелое время наступает вечером. Жарко. Писать не могу, т. к. башка утомлена, читать и учить уроки тоже не могу (весь день почти этим занимался). И вот сидишь перед столом в совершенном бездействии, и всё начинает казаться безысходным и бессмысленным. И, кроме того, желудок тоже поет свою арию. Эти одинокие, мрачные вечера, когда ничего не придумаешь и всё кажется конченным,— это мой ежедневный бич. Еще утром ничего: учишь глупейшие уроки, думаешь: «А вдруг макароны в распределителе?!», надеешься, что в бюллетене последних известий будут какие-нибудь интересные новости... А потом выходишь на жару, и становится стыдно за дырявые ботинки, но т. к. утро и настроение все-таки неплохое, то бодро шагаешь по мостовой и даже радуешься, что несмотря на давно нестиранные брюки, ты все-таки наподобие магнита, притягиваешь взгляды иногда красивых девушек и женщин. И я иду по улице Маркса энергичным шагом, среди многочисленных прохожих, и солнце шпарит, и опять взгляд на ботинки... В столовой я теряю остатки хорошего настроения, потею от злости, внешне оставаясь спокойным, выхожу из себя и чуть не падаю в обморок от той же злости. Приходится ждать, ждать и ждать стоя, и ложек нет, и подадут бурду, и главное, всё это можно было бы организовать, но никто ничего не хочет делать... И так далее и тому подобное. Почти бегом иду в школу, злой... и неудовлетворенный. В школе, конечно, начинаю спать; потом оправляюсь и стоически сижу на уроках и гляжу оловянными глазами на черную доску с крючочками формул. Досидеть до конца — для меня подвиг, и я его осуществляю только ради того, что через пять дней учение кончится, и того, что все-таки надо постараться не провалиться. Прихожу домой; съедаю суп и второе (лапша или селедка длиной в 8 см с  $1/2$ ); одновременно что-нибудь читаю, и что бы

я ни читал, всё кажется интересным и занимательным (такое уж действие супа.) Вылизав тарелку так, что она превращается в нечто блестящее (вроде миража) я продолжаю читать. Но скоро читаемое мне надоедает; я перестаю внимательно следить за смыслом и взаимосвязью прочитанного и, через час или два чтения, откладываю книгу в сторону. Начинаю придумывать способы добыть денег на завтрашний обед: у кого занять, что продать? Ничего не придумав и давно забыв про съеденный обед, начинаю себе представлять, какие славные баранки продают на базарчике поблизости, и как было бы приятно читать эту книгу, конечно, при условии наличия этих баранок. Но тут опять ничего не придумываю, и начинаю злиться, скучать, вспоминать, всё это в душной малюсенькой комнатухе без окон и без воздуха. Так и сижу, пока не беру опять книгу; переставая понимать читаемое, вижу — пора спать. Мигом в кровать — и тотчас же засыпаю, чтобы проснуться утром со смутным сознанием того, что ночь прошла чересчур быстро и что опять предстоит день, подобный дням, всем дням предыдущим. Вечером я вообще несколько невменяем, и случайный посетитель меня в эти вечера не узнает: я совсем не тот, что утром, совсем развалившийся и острящий через силу; кажется: вот-вот рассыпется в прах.

Альманах я бросил — ни к чему он. И раз нет желания, то ну его в болото. Да, я плыву по течению; пора в Москву; там, может, обновлюсь, чем-нибудь увлекусь, а то этак свихнуться можно, варясь в соку собственного пустого пессимизма.

Сейчас пушусь в странствия: распределитель, известия, столовая, почта, солнце, лестницы, мостовая и убегающее время, которое никак не ухватишь за фалду.

Посылаю тебе мою самую недавнюю фотокарточку; надеюсь, дойдет.

В путь, в путь, как та самая знаменитая белка.

Радует победа в Тунисе — второй генеральный разгром немцев. Может, скоро — конец?

Пиши. Целую крепко. Твой брат Мур.

47

31/V-43 г.

Алечка дорогая!

Вчера получил твое письмо от 11/V-43. Всякий раз твои письма для меня праздник — праздник потому, что они суть части чего-то неразрывного и длительного, они дают надежду на то, что предстоят нам времена лучшие; они сохраняют воспоминание обо всех нас как о семье, как о целом; а в эти дни, про которые можно сказать подобно Гамлету: «Распалась связь времен», совершенно необходимо делать всё, чтобы найти именно эту связь — и вот твои письма «восстанавливают времена́» по линии простых человеческих отношений.

Я особенно чувствую всю остроту гамлетовского изречения потому, что я живу один. Сейчас, я это понял, необходимо жить скопом, тесно прижавшись друг к другу; «золотому индивидуализму» невозможно существовать, особенно если субъект, его исповедывающий, лишен, как я, материальной базы. В эпоху Готье и Мюссэ, в эпоху Маллармэ и Лотреамона, в эпоху даже омнибусов, Полэр и расцвета Мистенгэтт, быть индивидуалистом — было легко. А с тех пор, быть им — на практике — становится всё труднее и труднее. Основное, конечно, найти себе место и дело, которое любишь и уважаешь. И потом, возможно, что все мои «искания», «падения» и разочарования,— всё это в порядке вещей;

только причудливые стечения обстоятельств еще более усугубили, обострили и углубили тот процесс переоценки ценностей, который всегда возникает у молодого культурного человека при жизненном становлении.

Завтра начинаются выпускные экзамены; они будут длиться вплоть до 3<sup>го</sup> июля включительно: свыше месяца. Как я тебе уже писал, исход их мне неясен. Я прекрасно могу провалиться на них по всем без исключения предметам, кроме литературы, истории и иностр. языка (здесь обеспечены отличные отметки.) Уж слишком непохоже на других жил я в этом учебном году. Все мои одноклассники — обеспеченные люди, живут в семье, и не заботятся ни о пропитании, ни об одежде, ни о деньгах; они учатся, и в этом их главная жизненная функция. Кроме того, я потерял вчистую 1½ месяца (когда был призван, и потом я заболел.) Сидишь за математикой; вдруг — известие: в распределителе дают селедки! Если не пойдешь туда и не станешь в очередь и не получишь и не продашь на базаре и не купишь, скажем, хлеба и лука, то вечером, придя из школы, будешь сидеть голодным и злым, и предаваться воспоминаниям, мечтам и прочей мистике. И всё так. Жить-то нужно! А тут башмаки совершенно износились — и приходится продавать хлебную карточку, чтобы их починить прилично, ибо я предпочитаю сидеть без хлеба, чем ходить в продранных ботинках. И болезни, болезни, болезни. Сидишь в школе при наличии недостатка калорий, и уж никакие биномы, структурные формулы и обратные круговые функции не способны тебя очаровать. Так что я вполне допускаю, что мне по одному или по нескольким предметам дадут перезэкзаменовку на осень. Конечно, я сделаю всё, чтобы этого не было, чтобы возможно лучше ответить по «опасным» предметам. Кроме того, надеюсь, что учтутся призыв

и болезни, и явные наклонности и способности к т⟨ак⟩ н⟨азываемым⟩ гуманитарным наукам. Было бы глупо из-за математики лишать меня возможности поступить в тот ВУЗ, где точные науки не требуются, и где я бы мог, учитывая мою гуманитарную целеустремленность, приобрести специальность. Но, увы, логика не является уделом всех смертных, и я совершенно не уверен в том, что мои педагогические воззрения являются также воззрениями тех, кто решают «быть или не быть». Бесспорно, можно утешаться тем, что Шопена не приняли в Консерваторию, что все гении плохо учились и получали сплошные колы,— но все-таки это скудное утешение, и такое, которое практически ничего не даст.

Скоро я должен буду проходить перерегистрацию в военкомате. Эта перерегистрация может повлечь за собой и мобилизацию.

Так что видишь, Алечка, как всё неясно! При таких туманных обстоятельствах и перспективы более чем туманны; не хочу сказать — облачны.

Вслед за греческой историей купил эссэ Монтеня издание 1846 го, на старо-французском языке. Кстати, всё это стоит гроши; я совсем не тот человек, который всё тратит на книги; да и мало их (и это и определяет то, что я не «тот человек».) Но теперь не до чтения, хоть и самого полезного, и всё внимание придется сконцентрировать на экзаменах. Альманах я бросил, т. к., опять-таки, основное сейчас — испытания, и, кроме того, я был «единственным исполнителем» — и художником, и переписчиком,— нет, мерси, я не столь этим увлекся, чтобы тратить на такие пустяки драгоценное время — ибо время всегда драгоценно.

Позавчера встретил приятельницу Нины — Лидию Максимовну<sup>1</sup>, помнишь? Она была проездом через Таш-

кент, и я ее поразил сообщением о пребывании Алеши в Москве. Вчера же встретил дядю Митьки — Арсения Николаевича; он — военный, на курсах связи. Он мне сообщил, что Алеша живет в Москве и работает на прежней работе. Кроме того, он мне сообщил, что бабушка Митьки вместе с Софой выехала в Москву. Митька в Свердловске в МГУ, работает на заводе; кажется, особой популярностью не пользуется. Его отъезд в Свердловск был обусловлен разрывом с бабушкой, желанием выйти к самостоятельности. Вероятно, он скоро будет в Москве, т. к. МГУ уже частично переехал туда. Да, судьба, что она нам готовит?

Таким образом, три моих теперешних самых главных вопроса суть экзамены, перерегистрация и возвращение в Москву. Все три вопроса теснейшим образом связаны между собой, и ответы на эти три вопроса представляют собой вопросительные знаки. Разве можно что-либо писать в таких условиях, что-либо любить, чем-либо увлекаться? Конечно — нет. Какая-то, хоть минимальная, устойчивость необходима. А так вырастаешь каким-то авантюристом, только и всего.

Сегодня буду натаскивать одноклассника по литературе (а он меня, впоследствии, будет натаскивать по точным наукам.) Самое смешное заключается в том, что все — абсолютно все — панически боятся завтрашнего сочинения; это — основной камень преткновения всего класса. Пытаются угадать, выпытать, какие именно будут темы к сочинению, сочиняют шпаргалки... Боятся двух предметов — литературы и истории; также и иностранного языка. Характерно то, что и до 39 <sup>го</sup> г. я наблюдал то же самое — легкое усвоение точных наук и неспособность самостоятельно вращать мозгами. Большинство наших девочек идет в медицинский, индустриальный, транспортный, архитектурный

институты. Никто не идет ни в университет, ни по гуманитарной части или по части языков. При всем, в общем, хорошем отношении, на меня смотрят немного как на человека, живущего в мире четвертого измерения. Никто не интересуется международным положением, большинство читает совершенно случайные произведения бóльшей частью неизвестных авторов.

Ну, Алечка, увы, пора кончать, хотя и хочется еще поболтать. Надо итти отдать чинить ботинки, ну и конечно, сдерут же за это! Основное — чтобы держалось.

Прости, что я всё время пишу о себе. Но я принимаю во внимание то, что мне всегда очень интересно читать о том, что с тобой происходит. Следовательно, думаю, что и тебе интересно то, что я пишу о себе.

Утро неуклонно движется вперед; пора действовать; предстоит ежедневное круговерчение.

Пожелай мне, Алечка, успехов и счастья. Не сомневаюсь, что пожелаешь! Верю, что пожелания, даже издалика, могут очень много сделать. Пиши мне.

Целую крепко. Твой брат Мур.

48

4/VI-43 г.

Алечка дорогая!

Сегодня мне предстоит весьма ответственный день: сегодня — день прохождения военной проверочной регистрации. На эту регистрацию придется, вероятно, потратить большое количество времени: эдак так часов от 12 дня до 11—12 ночи. Опять медкомиссия, анкеты и прочее... Мне лишь хочется, чтобы вся процедура длилась не более 1 дня, т. к. в противном случае она сможет повли-

ять в отрицательном смысле на исход экзаменов, а ведь 7 го уже экзамен по алгебре письменной, 9 го — по алгебре устной, 11 го — по физике и, конечно, хочется не сесть в калошу.

День у меня сегодня начался неудачно: я должен был поехать на консультацию по французскому языку (в моей школе — английский, но его так плохо преподают, что я не счел нужным его изучать) куда-то к чорту на кулички, в какую-то школу 147 ую. Сел я благополучно на трамвай, поехал, проехал одну остановку — и слез вместе со всеми, т. к. произошла на пути следования авария, и сказали, что трамваи долго не пойдут. А итти пешком 6 остановок не имело смысла, тем более, что консультация начинается в 9 ч., а в 12 мне уже надо быть на регистрационном пункте в другом конце города. Так я и не попал на консультацию; придется ехать завтра прямо на экзамен, без предупреждения!

Пока что сдал два экзамена, два самых легких для меня и самых трудных для остальных: литературу письменную (сочинение) и устную. По письменной было 3 темы на выбор: 1) «Нас голос Родины на подвиги зовет» (Лебедев-Кумач); 2) Коллективизация в романе Шолохова «Поднятая целина» и 3) Свободолюбивые герои в романтических сказках и рассказах М. Горького. Я писал первую тему и так много написал, что не успел всё переписать в чистовик и пришлось сдать черновик и то, что я успел переписать. Тем не менее успел получить «отлично», что и требовалось доказать. По устному экзамену попались 3 вопроса: 1) Жизненный и творческий путь М. Горького; 2) Расцвет советского фольклора; 3) Стихотворения Сулеймана Стальского. Мне-то хотелось отвечать самое интересное: образ Гамлета, допустим, и особенности новеллы Чехова. А по-



палось то, что я совсем не учил! Тем не менее, в первом вопросе я ловко обошел точные даты и подробности биографии М. Горького (которых я не знаю), говоря преимущественно о разных периодах его жизни, связанных с периодами творчества: я делал вид, что «обобщаю». Это мне вполне удалось. Кстати, учитель, старичок в лавальерке, спросил меня, читал ли я «Клима Самгина». Я ответил: «Да, 1<sup>ю</sup> часть» (что и есть в действительности), на что он сказал, что «для него эта книга явилась откровением, своего рода «Войной и Миром». Да, конечно, это очень значительное произведение, но скорее в исследовательско-историческом, нежели в художественном отношении, потому что композиция этого романа — просто страшная: всё течет, главы — колоссально-растянутые, и получается какой-то гигантский литературный студень. Во втором вопросе я блеснул общими местами, которые так понравились, что меня даже не стали спрашивать по третьему вопросу.

Сейчас почитываю «эссэ» Монтеня, и дивлюсь, насколько он не устарел и в некоторых местах даже совсем актуален. Но язык, конечно, перегружен, засорен и труден — это было первое начинание французских «эссэ», первая французская проза, не считая Раблэ.

Сегодня Академия наук возвращается в полном составе в Москву; скоро уедет Группком Драматургов; может, когда-нибудь уеду и я?!<sup>1</sup> Дом наш пустеет: всё новые, незнакомые въезжают люди. Лида и Дейч уехали вчера.

Любопытно, как пройдет этот день. Пожелай мне счастья!

Пиши. Крепко обнимаю. Твой брат  
Мур.

11/VI-43 г.

Алечка дорогая!

Мое положение всё еще не выяснилось: буду ли я работать на заводе в самом Ташкенте, пошлют ли работать куда-либо в другое место или же — что тоже возможно — направят меня в какую-нибудь военную школу. Очень досадно то обстоятельство, что эта перерегистрация происходит именно тогда, когда начались выпускные экзамены; теперь они у меня сорваны, т. к. приходится часто (чуть ли не ежедневно) ходить в военкомат (а он далеко, в Старом Городе) — как раз в те дни и часы, когда идут в школе экзамены. Но всё же я постараюсь получить свидетельство об окончании десяти классов; не знаю, удастся ли мне это сделать. В понедельник вечером (14 <sup>го</sup> числа) узнаю, вероятно, что меня ждет. Но мне всё безразлично, т. к. ничто от меня не зависит, и я по-прежнему бодр, много читаю и даже закончил 4 <sup>й</sup> окончательный пробный вариант моего романа <sup>1</sup>. Я живу эти дни беззаботно, наслаждаясь чувством легкости — пылинки, которую может отнести куда-угодно, но сознавая, что впереди еще много хорошего — когда, неизвестно, но когда-то — это уж во всяком случае. На чем и кончаю.

Крепко обнимаю. Твой Мур.

30/VI—43 г.

Алечка дорогая!

Вновь пишу тебе, несмотря на то, что уже написал, кажется, вчера или позавчера. Но писать надо; для меня

это важно и насущно, и мне страшно хочется, чтобы ты возможно яснее и точнее представила бы себе мою жизнь. Говорит ли тут тщеславие, или чрезмерное одиночество, стремящееся вырваться из своих же собственных пут — не знаю; во всяком случае, знаю лишь то, что писать тебе стало для меня необходимым. Даже мой дневник, начатый мною 28<sup>го</sup> августа 1939<sup>го</sup> г., и упорно, изо дня в день, с тех пор продолжаемый, отступает на второй план перед моими письмами к тебе, и я в него гораздо меньше вкладываю «своего», личного, чем в эти письма.

Сейчас, должно быть, часа 4 утра, любимое мною время; — любимое потому, что кругом царит абсолютная тишина: общежитие дрыхнет почем зря. Лишь изредка подаст голос с соседнего двора нелепый петух. Самое милое время для вдохновения. Общежитие спит... Но и вознаграждает же оно себя днем! Буквально целый день стоит крик и гам; никто не смущается соседями и все кричат о своем, ругаются, пищат, читают вслух, пререкаются. А сейчас тихо — и можно думать и соображать, не будучи сбитым с толку назойливой чужой болтовней, слишком доходчивой благодаря тонкости стен.

Я живу в неприятной компании: в самом деле, началу моего жизненного пути сопутствуют не друг (он далеко, и друг ли он?), не родители («иных уж нет, а те далече»), не «любимое существо» (очевидно, где-то поджидающее своего часа и своей судьбы), — а клопы, мыши и тараканы. Последние — чрезвычайно проворные и безобидные существа; грешат они лишь безобразием и величиной, внушающей отвращение. Клопов я регулярно травлю кипятком и солнцем, но несмотря на эти санкции, они (клопы) регулярно появляются снова, как ни в чем ни бывало. Впрочем, это не трагедия, так как они не

едят меня по́едом, а только изредка покусывают, для острастки. Но все-таки неприятно. Мыши же скребутся за тумбочкой, преимущественно ночью, когда пора заснуть, и все эти поскрипывания и шелесты иногда меня раздражают.

Раздражает меня, кроме того, собака, которая вечно лает — и на своих и на чужих, и порой, совершенно беспричинно, ка-ак тяпнет за икры! Я бы давно с ней разделался, если бы ей не протезировали соседи-актеры, с которыми не хочется вступать в конфликт. Я вообще собак не люблю: они слишком похожи на человека — и льстят, и грустят, и улыбаются, и подличают. Если уж животное, то пусть будет оригинальное, а не имитирует человека. Моя нелюбовь к собакам шокирует чувствительные души («пёсик, пёсик?»)

Сегодня предстоит день... как день, очень характерный для моего ташкентского образа жизни последнего периода. Вынужденное безделье меня тяготит и утомляет. Беготня в столовую и в распределитель, очереди, базар, глупые разговоры, а вечером комната, готовая взорваться от духоты. Но сегодня хоть довольно радостно на душе, так как я должен получить из стирки и глажки брюки и белье, что позволит мне избавиться от очень жаркого черного одеяния (единственной смены) и хоть некоторое время подобающим обрамлением заставит еще ярче сверкать мою классическую красоту. Эх, люблю, грешным делом, приодеться! Впрочем, это (как говорит Митька) лучше, чем водку пить.

Сегодня, после долгого перерыва, пойду в театр — в оперетту: «Цыганский Барон» И. Штрауса. Дрянь, наверно (говорю о постановке). Но потащили члены литкружка. В литкружке Дворца Пионеров я делаю добрые дела: во-первых, постоянно оживляю его заседания пу-

стейшей, но по мнению присутствующих — остроумной болтовней, во-вторых, всегда безжалостно критикую плохие произведения; вообще стараюсь сделать эти заседания возможно менее серьезными (ибо серьезность слишком часто напускная), и часто в комнате, где мы заседаем, стоит «сплошной хохот», причем и сам руководитель кружка — журналист-халтурщик, заливается не хуже других. И мне приятно сознавать, до какой степени различны представления, которые имеют обо мне различные люди или группы людей. Для общезнания я — мрачноватый чудак, замкнувшийся в себе, бесспорно человек культурный и даже (о да!) знаток международной политики, но к которому следует относиться с оглядкой, ибо он такой фрукт, что никогда не скажешь заранее, что он может выкинуть. Для школы я — странное явление человека, интересующегося только литературой и историей, какой-то феномен, который для собственного удовольствия пишет длиннющие сочинения, не ходит в театр, не танцует и ошарашивает девочек ироническим к ним отношением. Кстати о девочках — метод ухаживания, прием флирта наших юношей: драка. Просто колотят девочек, а тем того только и надо. Право смешно — куда делась цивилизация? Для литкружка я — веселый парень, балагур, вечно с шуткой и анекдотом, в общем — душа общества. А для себя я — ничего не знающий, чрезвычайно невзрачный человек, человек с развитой рефлексией... и слишком большим аппетитом. Моя философия — эклектика. Это очень удобная философия: берешь у каждой системы всё ее лучшее и получается недурная палитра, из красок которой можно мазовать любую картину.

Начинает светать — значит, мне надо ложиться спать. Чиркают птички. И как им не надоело, ведь каждый

день одно и то же! Добро бы замычали или завыли, а то всё: чирик-чик-чик. Вообще хочется перемены. Надо, надо в Москву. Скорее бы разрешились мои мобилизационные вопросы. А то так надоело ждать. Нельзя вечно ждать. Надо начать жить.

Целую крепко. Твой брат Мур.

51

12/VII—43 г.

Дорогая Лиля!

Давно Вам не писал, всё было некогда: возня с военкоматом, возня со школой. Получил отсрочку до 1<sup>го</sup> сентября. Аттестат за 10 классов мне не дали, ввиду того, что я сдал только 3 экзамена. Остальные же я не сдавал потому, что меня каждый день — в течение месяца — собирались отправить (по военной линии), вызывали и т. д. и было не до школы. Но отсутствие аттестата не помешает мне поступить в ВУЗ.<sup>1</sup> Надеюсь, в Москве, Толстые подсобят в этом плане. Вот что чрезвычайно тревожно, так это мое положение с отъездом; пропуск у меня до 15 августа, а ехать я не могу, т. к. невозможно достать билет. Думал ехать с драматургами; отказали: «для своих мест не хватает, не то что...» Не знаю, что делать и никто не знает. «Прозондирую» Ахматову, может, она что-нибудь сделает. А пока живу «между небом и землей», т. е. стараюсь уехать и не могу и жизнь кажется нереальной.

Обнимаю. Ваш Мур.

27/VII—43 г.

Алечка дорогая!

Сегодня, купив бумаги и улучив момент спокойствия, я вновь тебе пишу. Получила ли ты мое последнее письмо с приложением двух стихотворений Пастернака?<sup>1</sup>

С тех пор ничего не изменилось. По-прежнему обещается броня на билет, по-прежнему жду денег, послав соответствующие телеграммы, по-прежнему пью в невероятных количествах воду и читаю каждое утро бюллетень последних известий.

Впрочем, цепь небывалых происшествий, случающихся только со мной, продолжается. Помнишь, писал я тебе о том, будто бы встретил Павлика; встреча эта произошла при обстоятельствах столь необычайных, что я вполне законно подумал о Павлике, хотя это и не был он. Это — одно. Потом другая встреча, тоже необычайная — незнакомый человек остановил меня на улице, но, увидев, что я чрезвычайно спешу, назначил мне свидание; впоследствии оказалось, что он артист-гитарист и видел на мне когда-то какую-то необыкновенную рубашку, и хотел ее купить у меня для сцены; я, обозленный бесцеремонностью, осмеял его и ташкентские нравы и оставил его сконфуженного и бормочущего, что он-де живет своей профессией, этикета не знает и ищет обмундирования для сцены и т. д. и т. д. Позавчера у меня пропал один из дневников и книжечка моих стихов и прозы за 1941—1942 гг.<sup>2</sup> Всё это не совсем обычно, не правда ли? Впрочем, последнее происшествие имеет мотивом чисто-женское любопытство, сдобренное отсутствием у меня замка и надеждой на наличие каких-то экзотических приключений.

чений и походов в дневнике и любовной лирики в сборнике.

А Рая не уехала в Янги-Юль! Она прождала 2 часа машину... и осталась. Наши отношения возобновились. Тут тоже всё как-то необычайно. Ведь я ее встретил, познакомился с ней чисто-случайно. А тут оказывается:

Во-первых, что она знакома с Мулей!

Во-вторых, что единственная поэма (некоего молодого поэта Аграновича), которая в Москве произвела на меня впечатление и которую я всюду расхваливал — посвящена ей, и что «голубь» — это она!..<sup>3</sup>

В-третьих, что мой любимый пьянист Флиер — ее добрый друг! И он-то и изображается под именем Летаева в «Голубе».

С Мулей Рая познакомилась в Куйбышеве, в «Гранд-Отеле» при самых диковинных обстоятельствах; отвечает она о нем весьма хорошо; о его жене — хуже.

Любопытный штрих о Флиере: когда ему случается играть где-нибудь в гостях, и когда около него сидит какая-нибудь вздыхающая и в экстазе обожательница музыки, то он обычно в самом патетическом месте какой-нибудь сонаты нет-нет да и подмигнет этой особе, чем повергнет ее в мучительнейшее недоумение, т. к. она-то думала, что он, наподобие ей, парит в этот момент в высочайших нимбах музыкального очарования!

Занятия наши продолжаются. Рая весьма талантлива, но ей претит система и порядок; она — порождение богемы, хотя и говорит, что ненавидит богему (очевидно, последний шик.)

Она рассказывает мне колоссальное количество анекдотов (которые я, грешным делом, чересчур быстро забываю), рассказывает о своих похождениях, причем



бахвалится своим нахальством, стараясь мне втемашить, что без нахальства ничего нельзя сделать. Например, когда она уезжала из Куйбышева, и не было места в «международном» мягком вагоне даже для самых крупных лиц, хотя они и грозили и умоляли; и как она все-таки села туда и прекрасно ехала до Ташкента, в сказочных условиях (по удобствам и питанию.) Чего только не может сделать красивая женщина!

Но «внутри» Раечка совершенно опустошена и сознается, что ее режиссерство, актерство, театр и пр.— то самое самоограничение, о котором я тебе уже писал. Единственное, чего ей хочется, как и мне, впрочем, это уехать отсюда поскорей.

Конечно, ей не хватает культуры, хотя она на голову умнее и остроумнее до сих пор встречавшихся мне женщин. Нельзя же замыкаться в драматургии. И вот я всячески «натаскиваю» ее по западной литературе и поэзии. Но что-то мнится мне, что я не заставлю ее любить ни ум А. Жида, ни силу и размах Ромэна. Слишком нравится ей Мопассан, «Сафо» (А. Додэ) и Анри де Ренье. Держу пари, что Клод Фаррер тоже ее бы устроил (человек, который достает мне билет, почему-то весьма ценит и любит и Ренье и Фаррера.)

Любопытно то, что Рая мне сейчас совершенно не нужна. Между прочим она чрезвычайно льстит моему тщеславию; когда мы идем вместе по городу, или в кино, или в театре, то мне доставляет великое удовольствие видеть завистливые взгляды одних, слышать восторженные шушуканья других; мы, как говорится, пара на славу. Но мое отношение к Рае в эти минуты не отличается несколько от того ощущения, которое я испытал бы, надев шикарный костюм и американские ботинки. Я воспринимаю ее тогда чисто декоративно; она — мое украшение. Подозреваю, кстати, что и она меня воспринимает

ет так же! Любопытно также то, что она меня не воспринимает ни как друга, ни как товарища, ни как любовника... а как писателя, прежде всего как умного и пронизательного человека. Она, такая развязная со всеми другими, такая решительная и неустрашимая, часто-часто пристально ко мне приглядывается, смутно ожидая, что я чем-нибудь ее ошарашу. Она опасается моего главного оружия: моего неприкрытого словесного скептицизма; сознавая, что, даже при наличии ее всемогущих чар, я сильнее ее, она меня уважает (а она никого не уважает!) Мои противоречия кажутся ей порождением какого-то четвертого измерения и нередко сбивают ее с толка, но это ей приятно, ибо логика — не ее удел. Между прочим, я произвожу впечатление настолько уверенного в своем будущем писателя, что недавно она сказала: «О, так пожалуй скоро до Вас совсем не доберешься!» Это было шуткой, но тон ее был почти серьезен! Я обещаю ей, что придет день, когда я ей позвоню, скажу ей: «Хотите ехать со мной?» и мы уедем вместе. Но если она забудет обо мне, то я ее с собой не возьму; я ей советую быть расчетливой и поставить на меня, как на аутсайдера на скачках! Это всё шутки, но ей, конечно, хотелось бы, чтобы они осуществились, и я говорю так убедительно и уверенно!

И тем не менее, эта слишком умная и цивилизованная особа мне сейчас не нужна. Она слишком нездорова для меня. Мне надо больше радости, меньше болтовни. Но если я и «позвоню» когда-нибудь, то именно ей (или подобной ей), а не той здоровой и веселой, которая мне нужна сейчас.

Читаю Леонова; прекрасный писатель, великолепный стилист, знаток России и наследник Достоевского. Вот это писатель, это я понимаю, это не Ильенков и не Первенцев.

Несмотря на Раю, урюк и солнце, надоел мне Ташкент хуже горькой редьки. Когда же я наконец уеду отсюда? Пора обновиться и возродиться, пора протряхнуться и переменить воздух.

Пиши уже мне на Лилин адрес, в Москву; я надеюсь, что буду там скоро<sup>4</sup>.

Крепко обнимаю. Твой брат Мур.

**III**

**АРМИЯ. 1944**

〈Начало марта 1944〉<sup>1</sup>

53

Милая Лиля!

Огромное спасибо за то, что, несмотря на трудности, Вы все-таки мне уже два раза помогли. Ведь пока я здесь — самое важное — это, чтобы ко мне приезжали. Пишу кратко, потому что спешу на обед, боюсь пропустить. Телефон Алёши В 1—56—41. Обязательно установите с ним связь, и с Буровыми — чтобы помогли, пока я здесь: Д 1—77—90. Они помогут. 99% «товарищей» по армии — выпущенные уголовники. Мат, воровство страшное, люди абсолютно опустились, голодают все, всё ношу с собой, иначе — украдут. Есть 2—3 симпатичных человека, но не они «делают погоду». Разговоры только о еде, тюрьмах и лагерях, о людях, роющихся в помойках за объедками; дикая спекуляция всем. Я 2 недели болею только потому, что заставляют ходить на работы несмотря на освобождение, заставляют, например, обувать ботинок на больную ногу и рыть — бессмысленно! — 10 м снега. Ругают — «интеллигент». Дураков и злодеев очень много; Вы бы содрогнулись, если бы слышали, как меня обзывают. «На дне». Отсюда все рвутся, патриоты этикие, на фронт — исключительно из-за питания (дураки, а?!) Телогрейку, бумажник «спёрли», а также — в пересылке — ту замечательную банку колбасы, которую Вы мне дали, когда я уезжал; такая досада! И здесь я — иностранец, но в Москве ко мне благожелательно относились, а здесь — я какое-то чужеродное тело. Чучело гороховое. Я не жалуясь; это глупо

и бесполезно. Я уверен в том, что в дальнейшем я вновь буду на своем месте, буду писать и жить достойно, что мне не удавалось до сих пор. У меня такое ощущение, что я всё время в грязи. Конечно, твержу Маллармэ, причем боюсь, что он пропадет. Дневник запрещено вести. Митька не в худшем, чем я, положении.<sup>2</sup> Наша судьба аналогична. Адрес Бутовых: ул. Горького 25, кв. 77. Бегу на обед (!). Пусть приезжают почаще. Деньги очень нужны (хлеб и сахар можно покупать дешевле, чем в Москве.) Пусть Алёша и Буровы помогут; иначе они ничего не стоят. Они помогут.

Целую крепко

Ваш Мур.

54

18/III—44 г.

Дорогие Лиля и Зина!

«Доминус вобискум»<sup>1</sup> — в некотором роде, конечно, ибо в буквальном смысле это было бы немного слишком. Итак, продолжаю практику писания писем — пока есть бумага (-кочки-) и другие кочки — времени. Пишу без абзацев (очень этого не люблю, но экономия, экономия!) Продолжаю болеть. Да будет проклята зловедная пятка! Из-за нее я очень много настрадался, не столько из-за боли, сколько из-за обвинений в притворстве и вытекающем отсюда отношении. Лишь сегодня я попаду в санчасть; интересно, что мне там скажут. Здесь есть некоторые симпатичные люди: агитатор, художник, кое-кто из комсостава. Пока что, несмотря на неприспособленность, «непохожесть» и пр., не получал ни одного т<ак> н<азываемого> «наряда вне очереди» (ночью мыть полы), быть может, благодаря перманентной тихости и безответности и понимания

справедливости — в данной обстановке — (и необходимости) некоторых требований. Я уверен, что с течением времени приобретутся необходимые автоматические привычки и рефлексы; пусть внутренне человек будет каким-угодно, но внешне он сумеет — должен суметь — быть на определенном уровне, и только на этом уровне. Продолжаю «впитывание» стихов и прозы Маллармэ; и те и другая совершенно замечательны; о стихах это известно, но прозы никто, по-моему, толком не знает и не читал по-настоящему серьезно. Небывалая проза; я никогда — увы, впрочем! — ничем особенно не восторгался (в детстве еще как восторгался, но теперь...) — а вот на этот раз меня действительно пробрало. Иду на обед, допишу после.

Естественно, после обеда настроение несколько улучшилось. Увы! на короткое время, ибо пары насыщения рассеются очень скоро, и вместе с ними улепетнит и соответствующее благодушие. Сейчас пойду в санчасть; наверное придется простоять долго в очереди; самое главное — что там скажут и дадут ли освобождение, а то надоело болтаться с кличкой симулянта; официальная бумажка до-нельзя нужна.

Кончаю. До свидания. Обнимаю крепко.

Ваш Мур.

55

〈Конец марта 1944〉<sup>1</sup>

Дорогая Лиля! Милая Зина!

Пишу Вам, так сказать, о самом свежем в моей новой судьбе. Вторично (даже — 3 <sup>й</sup> раз) я остаюсь здесь, в Алабино, на неопределенное время. Две недели тому назад, когда рота отправлялась в марш, я в последнюю минуту

был выключен из списка из-за болезни и биографических данных. Командир роты написал рапорт по моему поводу; впоследствии я был вызван парторгом батальона и всё ему рассказал о себе, но от этого ничего не выяснилось и не прояснилось: он сочувственно всё выслушал, но никакого решения по моему поводу принято не было.

Пользуюсь тем, что, благодаря милому С. Шемшурину, письмо будет Вам передано в руки, чтобы наиболее полно написать обо всем. Кругом визг пилы и глубокомысленная болтовня плотников, так что письмо выйдет наверняка бессвязным; простите. Итак, жизнь мою в Алабине можно разделить на несколько периодов (нахожусь я тут уже с месяц). Первые две недели моего пребывания здесь я был здоров и ходил на занятия. Занятия — строевая подготовка, т. е. «направо», «налево», «кругом», в общем, топанье, тактика — ползать в снегу «в атаку», «в дозор», перебежки и т. д.; прошел саперную подготовку (мины, как минировать и разминировать местность; общие понятия по саперному делу.) Стрелял всего один раз на 200 м, на «пос.» (из 3½ патронов один попал в цель). На занятиях я очень быстро зарекомендовал себя с неважной стороны; на фоне наших здоровяков я выглядел весьма плохо, отставал, когда другие бежали, и отсутствие, действительное отсутствие физических сил определило мой окончательный неуспех на занятиях. Правда, нельзя сказать, что я — самый худший на занятиях, — но один из самых худших — абсолютно, как в школе по физкультуре и математике. Очень часто назначали наряд в баню за 3 км. Там я разгружал дезокамеру (я и еще 3 человека); обычно назначается суточный наряд; взвалишь кучу горячих шинелей, брюк и белья из дезокамеры (похожей на «душегубку») и тащишь в помещение. Голые люди набрасываются на тебя, разыскивают свои вещи и жа-



луются, что их еще нет, гам стоит невообразимый. В камерах вещи «прожариваются» 40 минут. В промежутках между разгрузками спишь. Кто колет дрова, кто носит эти дрова в котельню, кто просто спит на печке, кто... И так — сутки. Часто посылают на чистку дорог, за дровами; последнее — мой бич; я очень плохо пилю, и все ругаются по этому поводу, а как болят плечи под тяжестью толстых бревен! Однажды мы из бани тащили огромную корягу, так я просто не знаю, как я выдержал; помню только, что я энергично думал почему-то о Флобере (!) и шел в каком-то обмороке. Дрова — самое сильное физическое страдание всей моей жизни. В конце концов я заболел — почему-то заболела пятка (фу, как глупо звучит!), да так, что вот уж две недели, как я болею. 15 <sup>го</sup> рота должна была отправиться на Украину: ее уже обмундировали в новое; но зачёты показали, что знания по военному делу очень слабы, пришел новый приказ, роту раздели и начали вновь обучать. После 15 <sup>го</sup> очень сильно начали насаждать по части дисциплины; ежедневны драмы с подъемом, когда нужно одеться в 4 минуты и итти без шинели на физзарядку; особенно канителят узбеки (т<ак> н<азываемые> «юлдаши»). Никому вставать не хочется, начальство кричит и угрожает... Некоторых заставляют вновь раздеваться и одеваться, дают «наряды вне очереди»: ночью мыть и «драить» полы, копать снег; это — меры наказания. Очень много начальства, которое никак не согласует своих приказов; трудно сообразить — кому же, все-таки, подчиниться. Каждый говорит, что надо выполнять только его приказание. Мое начальство: командир роты, командир взвода, парторг, старшина роты, пом. старшины роты, командир отделения, дежурный по роте, и это не считая батальонного и полкового начальства. Ротный старшина наш — просто зверь; говорит он только матом, ненавидит интеллигентов, заставляет мыть

полы по 3 раза, угрожает избить и проломить голову. Мне он встиснул больную ногу в ботинок, сорвав шнурки; с освобождениями он не считается; абсолютно как Павел: «Марш в Сибирь», так и он: «Марш за дровами», и длинной чередой плетутся совершенно больные, негодные ни к чему люди — «доходяги» на местном арестантском наречии. Суп — «баланда», мясо и хлеб — «бацилльное» (!), очки — «рогачи» и т. п. 99% роты — направленные из тюрем и лагерей уголовники, которым армия, фронт заменила приговор. Много больных, стариков, много страшных рож, каких можно увидеть лишь в паноптикуме, Musée Grévin \*. Все ненавидят интеллигентов и мстят; все думают так (примерно): до армии ты, интеллигент, нас не замечал, мы были для тебя ничто, а теперь ты — в нашей неограниченной власти, и мы тебе мстим, как только можем, унижаем и издеваемся над тобой. Старшина роты — что-то невообразимое; это хамство в кубе, злое, ликующее, торжествующее и безграничное хамство; просто удивительно. Воровство здесь совершенно небывалое; воруют всё, всё время, и даже воры друг у друга. В столовой стоит крик от спекуляции: меняют сахар на суп, продают хлеб и суп, делят, дают взятки поварам, ругаются почем зря, комбинируют всяческим образом, это Ташкент в кубе; ужасно противно и отвратительно. Опустились все страшно, да и некоторым опускаться нечего, они давно опустились. Проклятый военкомат, что направил меня на сборный пункт! Здесь собран какой-то поганый вшивый сброд; не все, конечно, но большинство. С 15 <sup>00</sup> я болею (пятка) и не хожу на занятия. Переписываю пьесу для агитатора, помогаю художникам, стараюсь не попадать на глаза старшине (остальное начальство — ничего), стараюсь побольше отдохнуть в тепле, почитать газеты,

---

\* Музей Гревэн (фр.).

раз всё равно ходить нельзя. Сажу в клубе и занимаюсь перепиской, в умывальнике на досках. Научился беречь свое имущество, зорко слежу за мешком и ношу его всегда на себе; ложась спать, прячу ботинки, обмотки, шапку, рукавички и пояс кладу под голову вместе с мешком. Очень боюсь, что кто-нибудь украдет мешок, а с ним и Маллармэ пропадет — самое ценное. Здесь ведется интенсивная клубная работа, но во-первых я — строевой, и это мне мешает полностью включиться в эту работу, а, во-вторых, сам характер этой работы очень чужд мне и, по-видимому, я так и ограничусь перепиской и окрашиванием рамок, подобно какой-нибудь благородной девице, умеющей только рисовать в альбоме и петь романсы. Для работы в художественной самодеятельности мне не хватает оптимизма, легкости, бодрости, подвижности. Я «расцветаю» только в определенных условиях, а в прочих условиях я очень замкнут, не в пример, например, Але. Нога моя выздоравливает, и завтра-послезавтра, пожалуй, кончится мой сравнительный отдых и придется вновь напрягать все физические и моральные силы. Всё мое отделение отправляется, в составе большинства роты, на полтора месяца в Москву в жел-дор. батальон, на работу по выниманию противотанковых надолбов. Не-строевиков направляют на заводы в Москву (преимущественно, стариков). Приказы быстро и противоречиво сменяются; ничего не поймешь. Я не еду, остаюсь здесь; говорят, что там — тяжелая физическая работа. Но все с радостью отсюда уезжают — «лишь бы вырваться из этого ада». А я придерживаюсь мнения, что это — самообман, и нечего разезжать попусту; может, в жел.— дор. бат'е еще хуже будет. Правда, там не будет старшины и муштры и занятий, но раз меня нет в списках, то лезть на рожон я не намерен; увидим. Много народа уехало в Наро-Фоминск таскать кирпичи; я остался здесь. Лишь бы только почаще приезжали; это имеет огромное значе-

ние; есть, что ждать, и этим живешь, надеждой, что придут и скажут: «К тебе приехали». Итак, я в таком же неопределенном положении, как и по-прежнему (т. е. как до призыва); судьба такая! Чувствую себя на дне; слава Богу, радуют победы. Жду, жду приездов. О необходимости установить связь с Буровыми и Алёшей я Вам уже писал.

Крепко обнимаю и желаю сил и здоровья.

Ваш Мур.

〈На отдельном листке:〉

Нужны:

нитки, иголка

---

те две деревянных ложки, которые я забыл, или хотя бы одну.

---

преимущество денег — их почти невозможно украсть, а продукты приходится таскать на себе (иначе — украдут); когда ползаешь по снегу, то это очень неудобно. Но я «мужественно» всё таскаю на себе; нужно *всё*. Конечно, Буровы и Алёша помогут; может, Буровы, через Сельвинского, помогут в отношении какого-то изменения моей судьбы, потому что, все-таки, как я ни креплюсь, сейчас — *кошмар*. Вы, может, неприятно удивлены, что я так настаиваю на помощи мне и более частых посещениях, но Вам расскажут и письмо тоже даст понять.

---

56

13/IV—44 г.

Дорогие Лиля и Зина!

Пишу всё из той же деревни Ушаково, в которую мы приехали из Алабино, и из которой мы должны уехать,

вернее уплыть на катерах в какое-то Ерошино на лесозаготовки. Сейчас мы отдыхаем и ничего не делаем,— но зато и кормят в соответствии; хорошо еще, что за последнее барахло поменяли картошки. Погода значительно потеплела, лед тронулся, солнце; снега нигде нет; и это-то хоть хорошо, что не холодно. Вдоволь начитываюсь, пропитываюсь Маллармэ; когда-нибудь я буду первый специалист по Маллармэ, напишу о нем книгу, и это не мечты, потому что именно это является для меня реальной действительностью, тем миром, где я буду занимать первое место.— Сейчас же я занимаю одно из последних. Основное — черпать и черпать бодрость. Обычно ее хватает у меня часов до 3½ — 4½ дня; начиная с этого времени со мной начинает твориться неладное, и к вечеру я сижу скрючившись, в ознобе и схватившись руками за голову; меня охватывает какой-то непонятный страх всего и вся и я говорю отрывисто и боюсь двигаться с места. Не думайте, что я рисуюсь или «интересничаю» и не удивляйтесь, что пишу так откровенно о сугубо-личном; я, наоборот, всегда удивляюсь тем Плюшкиным, которые, очевидно, так высоко ценят свои чувства, что ревниво их скрывают; по-моему, хотя бы в письмах надо стараться быть «одним куском». Мой организм продолжает выкидывать штучки — нога не заживает, зато заболел палец правой руки — нарывает и пухнет. Решительно не вижу, что я буду делать на этих самых лесозаготовках; норма — 6 кубометров в день на человека: свалить, распилить, срезать и сжечь сучки, сложить деревья в штабеля. Мило, да? Итак, я в Рязанской деревне. Сплошной курьез. Впрочем, курьез — не в окружающем, а во мне на фоне этого окружающего. Вообразите рододендрон на Аляске! — Впрочем, признаюсь, не знаю, где растут рододендроны. Что слышно про Алю, про Митьку? Я очень страдаю от оторванности от всех вас, от Москвы и книг. Говорят,

что мы останемся на лесозаготовках на всё лето, а то и на целый год... Как только приедем на место и я узнаю точный адрес, куда писать — обязательно сообщу. Я нахожусь в подчинении Мос<ковского> Воен<ного> Округа; может быть Сельвинский поможет (сообщите Буровым.) Обнимаю.

Ваш Мур.

57

〈Конец апреля 1944〉<sup>1</sup>

Дорогие Лиля и Зина!

Давно Вам не писал — по причине отсутствия бумаги и незнания местонахождения почты; впрочем, до сих пор не знаю, существовала ли таковая. Выехала наша группа из Москвы, вернее, из Алабино, 3<sup>го</sup> числа. 10<sup>го</sup> мы были в Сасово. До 16<sup>го</sup> мы находились в деревне Ушаково, под Сасовом, в ожидании катера. 16<sup>го</sup> мы тронулись в путь. 19<sup>го</sup>, после сорокакилометрового марша, мы пришли на место назначения — в с. Нарма. Первое, что нам сообщили, было предупреждение о «некоторых особенностях Нармы», сводящихся к тому, что значительная часть населения давала отрицательную реакцию Вассермана (знаете, что за реакция?) Два дня там поработали (я ничего не делал, так как нарывал палец и я получил освобождение.) Потом приехали нам на смену 30 человек нестроевых — и мы пошли обратно. На сей раз едем быстро, пассажирским поездом, и проделаем в 12 часов путь, пройденный в 7 дней. Рассказать интересного — масса; в Москве постараюсь позвонить; так или иначе, очень прошу Вас, чтобы кто-нибудь приехал в Алабино поскорее — мало ли куда я могу попасть после водворения в часть, а своим хочется

побольше сообщить. Очень Вас прошу вот еще о чем: узнайте у Алёши (тел. В 1—56—41), что слышно о Митьке, где он, можно ли писать ему. Есть ли письма от Раечки? Вероятно, скоро поедем на юг. Я написал вступление к исследованию о Маллармэ<sup>2</sup>; я всё глубже его понимаю и знаю наизусть чуть ли не всё его творчество; я задумал написать работу о современной французской литературе, основываясь на произведениях 25 писателей, и эссе о трех поэтах. Но это — на досуге. Как Аля? Как и что — Вы? Скоро напишу еще. Обнимаю. Ваш Мур.

58

5 мая 1944 г.

Дорогие Лиля и Зина!

Пользуюсь случаем, что дорвался до чернил, и пишу Вам письмо. Вернувшись из Рязанской области, я угодил прямо в маршевую роту, и в настоящее время ежедневно хожу на занятия. Нога у меня почти прошла, но устаю я очень, благодаря незакаленности, а, главное, недостатку необходимых калорий. Не читаю ничего — только твержу наизусть любимые стихи и поэмы Маллармэ, и не перестаю ими восхищаться. Сколько пробуду здесь — сказать трудно; я думаю, что дней через 10—12 мы отсюда уедем; может быть, впрочем, что и останемся до конца месяца. По-прежнему пристально слежу за событиями; газет читать не успеваю; это стало лакомым блюдом. Живу со дня на день, причем настроение меняется по несколько раз в день, так что в итоге очень трудно сказать, как мне все-таки живется и как я всё это принимаю и ощущаю. Погода всё налаживается и никак толком не может наладиться — всё время дует надоедливый холодный ветер, а мы по летней форме уже без рукавичек и шапок-ушанок, а я всё время стараюсь беречь руки,

вроде пианиста; почему-то очень боюсь, что как-нибудь их поврежу и не смогу писать; как когда-то в Ташкенте я мрачно острил, что «я всё продал, кроме своего пробора», так и здесь я тешусь тем, что, вымыв руки, смотрю на них с уважением и опаской. Это глупо и не помужски — скажут мне; вполне возможно, скажу я,— но у каждого свои отрицательные стороны. Живу в ожидании — весьма тщетном — чьего-нибудь приезда и глазею с завистью на счастливицков, калякающих с приехавшими москвичами. Хорошо то, что дело идет к лету и будет тепло; это очень утешает. Получил открытку от Аси, на которую тотчас же ответил; в ней она пишет, между прочим, что «планы мои окончательно рухнули и я остаюсь здесь». Что слышно про Алю? Неужели ничего не слышно? Как живете Вы? Так же ли много занимаетесь с ученицами и учениками, и так же ли беспокоитесь о них и волнуетесь за их успехи? Какие театральные московские новости? В отношении кино знаю лишь, что выпущены на экраны цветной английский и новый американский фильмы и очень досадуя, что не могу их посмотреть. Всё так же жажду в Библиотеку Иностранной Литературы, всё так же мечтаю многое прочесть и перечесть; всё это будет, будет обязательно, иначе всё было бы бессмысленно. Всё же надеюсь, что ко мне приедут; это необходимо во всех отношениях.

До свидания. Обнимаю.

Ваш Мур.

59

18/V-44 г.

Дорогие Лиля и Зина!

Со времени приезда из Рязанской области получил две Ваших открытки. Я прекрасно понимаю все трудности,



испытываемые Вами в отношении помощи мне, и очень хорошо знаю, что и послать нечего, кроме того, что — не с кем. Если я Вам и писал «просьбы о помощи», то это было сделано сугубо «под непосредственным влиянием момента», и Вы не должны беспокоиться о том, что не удастся ничего предпринять с этой самой помощью. Возможности — самые ограниченные, и я Вам, наверное, уже надоел, о чем прошу Вас извинения. Что ни Алёша, ни Муля ничего не сделают было ясно — или почти ясно — мне уже давно, и если я и старался, чтобы они мне помогли, то просто для очистки совести и опять-таки под влиянием этого проклятого «непосредственного влияния момента», к которому уже давно, в сущности, следует привыкнуть, и не завидовать другим, более удачливым в этом отношении. Мало ли что кому и кто привозил; зато у других нет Маллармэ и многого другого, что есть у меня, так что завидовать нечего. Еще раз извините, что беспокоил Вас. Если бы кто-либо, включая и Вас, написал бы мне упреки по поводу этих моих просьб, мотивируя эти упреки тем, что я ведь хорошо знаю Ваше положение и почти нулевые возможности, то я, возможно, и обиделся бы и разозлился; — таков у меня характер. Но я сам «дошел» до этих упреков и таким образом избавил, быть может, Вас от необходимости, в известной степени, наставить меня на путь истины, вернее, на путь сдержанности. Я ведь думал, что Алёша и Муля, все-таки, и может, Буровы, помогут — а так, конечно, и говорить нечего. В общем, простите, что надоедал, еще раз, и главное, не жалейте о том, что не смогли почти ничего сделать — мне самому бы не следовало поддаваться «непосредственному влиянию момента» и беспокоить Вас обо всем этом, но я почему-то привык действовать сразу, вслепую, не беспокоясь о последствиях и всецело поддаваясь желанию; жизнь, вероятно, научит меня и ждать, и молчать, и эко-

номить и многому прочему, чему она меня еще не в силах была научить.

Это всё, мною написанное — так сказать, характера предварительного; — так сказать, расчет за старое. Новое же состоит в том, что примерно дня через два (максимум) я окончательно уеду отсюда на фронт: приспели сроки отправки. Конечно, по-видимому, до самой последней минуты (или, во всяком случае, до самого последнего времени) я не буду знать точно, состою ли я в списках, или остаюсь здесь. Но я лично думаю, что отправлюсь вместе с остальными. Будет, таким образом, новый поворотный пункт в моей пестрейшей биографии. По крайней мере хорошо будет хоть то, что Вы, с Вашим добрым сердцем, перестанете беспокоиться об организации приездов ко мне; это будет бесспорно положительной стороной дела. Удивительно, все-таки, как «единодушно» все не пишут, все т(ак) н(азываемые) друзья: ни Рая, ни Муля, ни Алёша, ни Буровы, никто. Рая, вероятно, совсем завертелась в Ташкенте, да и надежды на пропуск, возможно, угасли; Муля вообще, вероятно, скис, да и совсем от нас отошел; Буровы раз написали; у них много дел и им не до меня; Алёша занят... Всё это наука мне, но наука нехорошая — негуманная, эгоистическая, воспитывающая сухого и жёсткого человека, рассчитывающего только на себя; ничего тут хорошего нет.

Пишу сравнительно пространно потому что это письмо вполне может оказаться последним перед началом — неизвестно когда долженствующим наступить — уже другой серии писем.

Книгу Валери на русском яз. читал<sup>1</sup>; там очень мало, да и скучновато всё это на русском; теряется соль языка, а у Валери это, всё-таки, необходимый придаток выражению мысли.

Еще вот что: не думайте, ради Бога, что я хоть минуту

просил Вас или Зину приехать; я не был до такой степени дураком и свиньей!

До свидания; до новых писем. Привет Дм(итрию) Николаевичу.

Ваш Мур.

P.S. Получил две открытки от Аси, на которые ответил тотчас же.

60

3 июня 1944 го года

Дорогие Лиля и Зина!

Пишу Вам с фронта <sup>1</sup>. Адрес полевой почты — тот же, с той только разницей, что мы перекочевали в другую деревню, и я теперь ночую на чердаке разрушенного дома; смешно: чердак остался цел, а низ провалился. Вообще же целы почти все деревянные здания, а каменные — все разрушены. Местность здесь похожа на придуманный в книжках с картинками пейзаж — домики и луга, ручьи и редкие деревца, холмы и поляны, и не веришь в правдоподобность этого пейзажа, этой «пересеченной местности», как бы нарочно созданной для войны. Погода беспрестанно меняется — то солнце, то дождь, и нередко и то и другое. В данное время «обитаю» — т. е. сплю — в километре от места работы (я работаю писарем) и за день много исхаживаю, возясь со списками, бумагами и прочей писарской писаниной. Работы много; надо быть аккуратным и прилежным, иначе легко запутаться и запутать других; пока что я со своей задачей справляюсь неплохо и намерен и впредь с ней справляться. Каждый день что-нибудь меняется, так что живу со дня на день, довольно, в сущности, беззаботно, как будто это и не я, или лишь часть моего я. Не читаю ничего,

кроме газет. А в общем — всё это очень интересно и любопытно, и я не жалею о том, что сюда попал. Привет.  
Ваш Мур.

61

〈12 июня 1944〉<sup>1</sup>

Дорогие Лиля и Зина!

Пишу, сидя в штабе<sup>1</sup>. В комнате соседней слышны звуки патефона, передающие какую-то унылую песню, вернее, заунывную. Сейчас прошел дождь, теперь — бледное солнце. Вчера я был на стрельбище, которое расположено в удивительно красивой местности, около разрушенной мельницы, на берегу прозрачной речки. Луга, луга и поляны... Мне эта зеленая и неприхотливая природа почему-то пришлась очень по душе; в ней нет ничего резкого и кричащего, и когда терпимая погода, то здешние места — замечательны для прогулки. Другое дело то, что сейчас не до прогулок. Но просто-напросто итти по здешним полям доставляет удовольствие.

Часто думаю о Москве, об Институте, который мне понравился<sup>2</sup>, а еще чаще все думы сливаются в одно безразличное впитывание всех извне идущих звуков, запахов и впечатлений (это — в свободное время).

На столе — истрепанная книга Стивенсона «О〈стро〉в сокровищ», которой увлекаются телефонистки и ординарцы.

Кстати, я подметил одну национальную особенность нашего веселья: оно не веселое в подлинном смысле этого слова. Элемент тоски и грусти присущ нашим песням, что не мешает общей бодрости нашего народа, а как-то своеобразно дополняет ее.

Писать свое хочется ужасно, но нет времени, нет бумаги... Успеется. Как только я начинаю остро ощущать недостаток в чем-либо, то я думаю о том, что придет

время, когда мечты осуществляются, и они перестанут быть мечтами, станут в обыденную колею явлений, потеряют тем самым свой шарм и скоро начнут надоедать. И это то и является несколько обескураживающим. Надо ведь мечтать о чем-то, а когда заранее предвидишь, что мечты превратятся в действительность, а последняя — в рутину, то становится не по себе.

Хотелось бы мне написать Вам детально о своих приключениях (всё это очень интересно!), но это еще успеется. Одно совершенно ясно теперь: всё идет к лучшему, война скоро кончится и немцы будут разбиты. Это знают все, весь мир желает этого, добивается этого, — и добьется.

Итак, пока, каков итог, каков баланс? Я всегда чувствовал потребность иногда подводить итоги — и особенно в критические моменты моей жизни. 3 месяца запасного полка, 2 недели фронта (...ну и 19 лет жизни!) Что дальше? Всегда все спрашивают «что дальше» и, конечно, никто не может ответить!

Сейчас пишу в лесу, сидя на гнилом пне. Лес — моя стихия, меня хлебом не корми, только бы в лес ходить. Хорошо в лесу, только опять-таки комары надоедают.

Скоро предстоят решающие бои и штурмы; пожелайте мне добрых успехов для участия в них.

Привет Алёше. Обнимаю.

Ваш Мур.

62

14/06-44 г.

Дорогие Лиля и Зина!

Пишу, противу своей привычки, вечером — под рукой чернило, ручка, и никто особенно не мешает. Погода за день менялась раз десять; теперь же небо спокойно-синее, и настроение соответственно-ясное (старая история про-

должается: как плохая, серая погода, так настроение понижается до чернейшей меланхолии; как улучшается барометр, так и внутренняя стрелка указывает на оптимизм. А здесь погода меняется часто...)

Сейчас произошел смешной эпизод, который я наблюдал из окна: увидели зайца и начали палить в него из автоматов и ружей и гоняться за ним (человек 15!) и всё же, кажется, так и не удалось его поймать.

Лишь здесь, на фронте, я увидел каких-то сверхъестественных здоровяков, каких-то румяных гигантов-молодцов из русских сказок, богатырей-силачей. Около нас живут разведчики, и они-то все на подбор — получают особое питание и особые льготы, но зато и профессия их опасная — доставлять «языков». Вообще всех этих молодцов трудно отличить друг от друга; редко где я видел столько людей, как две капли воды схожих между собой; это — действительно «масса».

Как живет Москва сейчас? Вероятно, приблизительно так же, как и когда я был там? Вероятно, всё идет своей колеей: магазины и карточки, работа и театры, кино и салюты... И Институт мой продолжает безмятежно работать. И всё преспокойно идет своим чередом, как говорится, ничтоже сумняшеся, и будет итти своим путем невзирая на смерти многих и многих. Дешевенькие рассуждения, впрочем! Такими рассуждениями, увы, всегда пробавляешься в трудные минуты; редко-редко выскочит что-нибудь свежее и оригинальное: так уж человек устроен, что в большинстве случаев мыслит он по шаблону, и вырваться из шаблонных рамок стóит ему колоссальных усилий.

Что мне написать Вам конкретно о себе? — То, что в боях я еще не участвовал, что сейчас я работаю по писарской части, но не знаю, будет ли это и впредь продолжаться, ибо всё беспрестанно, ежедневно и ежеминутно меняется.

Встаю в 7 часов, отбой — в 12 ночи, занимаются 10 часов в день, причем гораздо интенсивнее и плодотворнее, чем в запасном полку. Питание по качеству уступает алабинскому, по количеству — лучше. Передовая — близко; идет артперестрелка. Атмосфера, вообще говоря, грозовая, напряженная; чувствуется, что стоишь на пороге крупных сражений; всё к этому идет. Если мне доведется участвовать в наших ударах, то я пойду автоматчиком: я числюсь в автоматном отделении и ношу автомат. Роль автоматчиков почетна и несложна: они просто-напросто идут впереди и палят во врага из своего оружия на ближнем расстоянии (действуют во время атаки). Я совершенно спокойно смотрю на перспективу идти в атаку с автоматом, хотя мне никогда до сих пор не приходилось иметь дела ни с автоматами, ни с атаками. Помните стихи Мережковского «Парки»? Перечтите их, и Вы поймете, отчего я совершенно спокоен<sup>1</sup>. Вообще у Мережковского много превосходных стихов, просто замечательных, в духе Лермонтова; впрочем, Вы и сами, конечно, об них знаете.

Чрезвычайно радуют успехи союзников в Сев(ерной) Франции; Вы себе представляете, как, с каким захватывающим вниманием и интересом я читаю последние известия!

К вечеру на дорогах гудят американские грузовики, усиливается артперестрелка, и донимают комары. Воображаю, сколько будет здесь шума от артиллерии, когда начнутся решающие сражения! Вообще, настроение перед атакой, перед штурмом — совсем особое, именно предгрозное, и мы все сейчас его переживаем, и люди торопятся заниматься, писать домой, играть на гармошке, смеяться и даже спать. Все чувствуют, что вот-вот «начнется»... Когда точно — никто не скажет, но что действительно скоро «начнется», это — факт.

Пора кончать; совсем темнеет и скоро спать пора ложиться.

Привет! Желаю Вам всего хорошего. Передайте привет Алёше. Что от Али?

До свидания                      Ваш Мур.

63

15/VI-44 г.

Милые Лиля и Зина!

Пишу Вам после бурно проведенной ночи, вернее — бурно начавшегося рассвета: впервые мне пришлось познакомиться со шрапнелью, которой нас задумали активно угощать. Знакомство было не из приятных, поверьте! Но ничего — к счастью это было не слишком близкое — и не личное! — знакомство. Пришлось также переходить речку вброд; все перешли прямо в ботинках и обмотках; я же не мог на это решиться и триумфально прошептал с ботинками в руке. Ночью орудовал лопатой, кстати сказать весьма неважно, что обусловило кое-какие замечания о том, что я-де наверное «москвич». Вообще я здесь несколько в диковинку и слышу за «чистёху» и т. п. Но всё это — пустяки, поскольку всё временно и настанет час, когда всё, в том числе и мы — станем на свое место. Играет штабной патефон. Как далека музыка от того, что мы переживаем! Это — совсем иной мир, мир концертных залов, книг и картин, мир из которого я ушел, и в который я вернусь когда-нибудь,— и который — полностью — никогда не существовал, ибо был разбавлен ежедневным бытом-бытиём.

Времени совсем мало. Пора кончать. Воеет и свистит ветер; погода что-то подражает вчерашней ночи!

Что меня ждет впереди? Я твердо уверен в успехе в жизни, который придет в свое время, как и общая наша победа,— а ее уже видно.

Привет. Ваш Мур.



17.06.&lt;1944&gt;

Милая Аля!

Давно тебе не писал по причине незнания твоего адреса; лишь вчера я получил открытку от Лили, в которой последняя сообщает твой адрес.

26<sup>го</sup> февраля меня призвали в армию. Три месяца я пробыл в запасном полку под Москвой, причём ездил в Рязанскую обл. на лесозаготовки. В конце мая я уехал с маршевой ротой на фронт, где и нахожусь сейчас. Боёв ещё не было; царит предгрозовое затишье в ожидании огромных сражений и битв. Кормят несколько лучше, чем в запасном полку. Погода часто меняется, места — болотистые, много комаров, местность холмистая; есть и леса. Всё это — сведения чисто географического характера, но здесь — фронт и писать подробно, конечно, нельзя.

Физически я чувствую себя неплохо; в запасном полку месяца полтора болел (всё — нога) а теперь всё зажило; бесспорно я слабее других в одном — в отношении рук, которые у меня и малы и не цепки и не сильны. Пока что работаю по писарской части, но завтра пойду в бой автоматчиком или пулемётчиком. Я абсолютно уверен в том, что моя звезда меня вынесет невредимым из этой войны, и успех придет обязательно; я верю в свою судьбу, которая мне сулит в будущем очень много хорошего. Пиши обязательно; прости за бестолковое — спешное! — письмо. Крепко целую.

Твой брат Мур

30/VI-44 г.

Дорогие Лиля и Зина!

28 <sup>го</sup> получил Вашу открытку от 22 <sup>го</sup>/VI, и обрадовался ей чрезвычайно, т. к. на фронте получал всего-навсего одну открытку — от Вас же, а без писем здесь чувствуешь себя совсем оторванным от своих. Поэтому — пишите! Письма очень помогают и радуешься им несказанно, как празднику. Впрочем — вижу, что повторяюсь,— а это никогда не рекомендуется!

Не знаю, писал ли я Вам (вернее — получили ли Вы то письмо, где я об этом говорил), что меня перевели из моего подразделения, в котором я находился с самого начала пребывания на фронте, в другое, совсем новое. В прежнем я уже обвыкся и обжился, и в новое переходил неохотно. Я стал вновь работать писарем. Но у меня «движение карьеры» почему-то шиворот-навыворот и вместо того, чтобы с низу итти вверх, оно идет сверху вниз. Вы помните, что моя писарская деятельность в Алабино закончилась включением в маршевую роту. В моем прежнем подразделении здесь, на фронте, я тоже (не сразу, правда) стал работать писарем, но когда нехватило людей для пополнения в другое подразделение, то я послужил «затычкой». В новом подразделении я сразу был назначен писарем, но здесь моя писарская карьера была кратче еще более, чем раньше и через несколько дней закончилась. После этого я некоторое время проработал на мифической должности связного старшины: после боя таскал оружие, носился с поручениями с передовой в «тыл», помогал носить раненых и т. д. Вчера и эта моя деятельность завершилась, и вот я из ячейки управления перешел в стрелковое отделение, простым бойцом. Во всех трех случаях видна явно нисходящая линия — сверху вниз. Чем это объясняется? Было бы несправедливостью

обвинять кого-либо в этом, кроме себя самого. Всё зависело от меня. В сущности, от меня требовалась лишь аккуратность, исполнительность, терпение, т. е. те качества, за исключением первого, которых я абсолютно лишен. Ну и опыт, конечно, «бывалость». Вы помните, как я работал в Москве комендантом общежития? <sup>1</sup> Писарская работа схожа с этой, и наводила на меня самую настоящую тоску и скуку, я от нее буквально засыпал. При таких условиях я, конечно, не мог прочно закрепиться на «писарских позициях», а для связного я слишком медлителен.

В последнее время мы совершаем большие марши, следуя по пятам отступающего врага. Живем, т. е. отдыхаем и находимся, в лесах. Походная кухня, рытье окопов (чтобы уберечься от артогня), и всё такое прочее. Бой был пока один (позавчера); постепенно вхожу в боевые будни: кстати, мертвых я видел в первый раз в жизни: до сих пор я отказывался смотреть на покойников, включая и М. И. А теперь столкнулся со смертью вплотную. Она страшна и безобразна; опасность — повсюду, но каждый надеется, что его не убьет. Хожу уже с немецкими трофеями: большой нож-штык и кружка, ложка. Идем на запад, и предстоят тяжелые бои, т. к. немцы очень зловредны, хитры и упорны. Но я полагаю, что смерть меня минует, а что ранят, так это очень возможно.

Асе писал, Але — тоже; напишите, что с Митькой, как он и где (Ириша скажет, тел. В 1-56-41). Раечке напишу обязательно, и очень обрадовался тому, что она заходила к Вам. Как она Вам понравилась?

До свидания. Пишите!  
Обнимаю. Привет Мур.

4/VII-44 г.

Дорогие Лиля и Зина!

Довольно давно Вам не писал; это объясняется тем, что в последнее время мы только и делаем, что движемся, движемся, движемся, почти безостановочно идем на запад: за два дня мы прошли свыше 130 км (пешком)! И на привалах лишь спишь, чтобы смочь итти дальше. Теперь вот уже некоторое время, как я веду жизнь простого солдата, разделяя все ее тяготы и трудности. История повторяется: и Ж. Ромэн, и Дюамель и Селин тоже были простыми солдатами, и это меня подбодряет! Мы теперь идем по территории, находящейся за пределами нашей старой границы; немцы поспешно отступают, бомбят наступающие части, но безуспешно; т. к. движение вперед продолжается. Население относится радушно; народ симпатичный, вежливый; разорение их не особенно коснулось, т. к. немцев здесь было довольно мало, а крестьяне — народ хитрый и многое припрятали, а скот держали в лесах. Итак, пока мы не догнали бегущих немцев; всё же надо предполагать, что они где-нибудь да сосредоточатся, и тогда разгорятся бои. Пейзаж здесь замечательный, и воздух совсем иной, но всего этого не замечаешь из-за быстроты марша и тяжести поклажи. Жалко, что я не был в Москве на юбилеях Римского-Корсакова и Чехова!

Пишите! Привет. Преданный Вам Мур.

## ПРИМЕЧАНИЯ

В книге собрана большая часть сохранившихся писем Георгия Сергеевича Эфрона: 66 из более чем 90 известных в настоящее время. Некоторые из них (18 по нашим подсчетам) — в отрывках, с купюрами или полностью — публиковались в различных изданиях начиная с 1975 г. (журнал «Неман», 1975, № 8, литературный историко-краеведческий альманах «Болшево», 1992, № 2 и др.). Источниками большинства этих публикаций были копии писем, сделанные А. С. Эфрон.

В настоящем издании письма Г. Эфрона печатаются по следующим источникам. Письма к Е. Я. Эфрон (часто с одновременным обращением к З. М. Ширкевич) — по оригиналам (РГАЛИ, ф. 2962, оп. 1, ед. хр. 157–157); из сохранившихся 48 писем и телеграмм Г. Эфрона к тетке для публикации отобрано 25 документов; необходимые сведения, а часто и дословные цитаты из писем, которые мы опустили, приводятся в примечаниях. Письма к сестре печатаются по копиям, сделанным публикатором в 1975 г. во время совместной с А. С. Эфрон работы над архивом М. И. Цветаевой; эти письма приводятся в полном объеме, т.е. все 38 сохранившихся писем. Из трех известных писем к С. Д. Гуревичу мы публикуем два: письмо 10 по оригиналу (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 230), письмо 30 — по любезно предоставленной А. А. Саакянц ксерокопии оригинала, хранящегося в частном архиве; о третьем письме см. примечание 2 к письму 13. Письмо к Д. В. Сеземану приводится по оригиналу, приложенному к письму 9; его перевод дан в примечаниях к этому письму.

В примечаниях поясняется только событийный ряд и реалии, все упоминаемые в письмах и записях Г. Эфрона лица аннотируются в Указателе имен. В комментариях используются выписки и приводятся копии документов, сделанные публикатором во время работы по научному описанию архивов М. И. Цветаевой, А. С. Эфрон и Е. Я. Эфрон в РГАЛИ в 1976–1986 гг., ссылки на эти материалы специально не оговариваются. Тексты Г. Эфрона передаются с сохранением особенностей орфографии автора, редакторские конъектуры и пометы заключены в угловые скобки.

Благодарю друзей и коллег: М. И. Белкину, Ю. А. Кошеля, В. К. Лосскую, Е. И. Лубяникову, А. И. Ушакова — за консультации и помощь в подготовке книги.

## ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ГЭ — Г. С. Эфрон

АЭ — А. С. Эфрон

МЦ — М. И. Цветаева

ДМ — Дневник Мура (Г. С. Эфрона)

Письма к дочери — М. Цветаева. Письма к дочери. Дневниковые записи. Калининград (М. о.), 1995

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства

## I

### МОСКВА. 1940 — 1941

#### 1.

<sup>1</sup> В январе — феврале 1940 г. МЦ в Голицыне переводила поэмы классика грузинской литературы Важа Пшавела «Раненый барс» и «Гоготур и Апшина».

#### 2.

<sup>1</sup> Международная организация помощи борцам революции; создана в 1922 г., секция МОПР СССР существовала до 1947 г.

<sup>2</sup> Институт философии, литературы, истории — гуманитарный вуз университетского типа; московский ИФЛИ существовал с 1931 г. по 1941 г., затем слился с МГУ.

<sup>3</sup> ДМ: «9 марта 1941. Был на концерте Прокофьева. Очень понравилась «Классическая симфония»; дирижировал автор; были довольно известные солисты, в частности очень талантливый пианист Рихтер. <...>»

#### 3.

<sup>1</sup> ДМ: «26 марта 1941. Купил книгу Кирпотина «Салтыков-Щедрин, литературно-критический очерк». Мне просто необходимы подобные книги, так <как> я должен по-настоящему много знать о мировых классиках и критиках. Необходимы

книги наших лучших критиков — но книги эти почти невозможно достать, таким успехом они пользуются. <...> Необходимо накопить денег, продав французские книги, чтобы купить у Митьки «Очерки истории западноевропейской литературы» Когана, в трех томах. Митька требует за них 15 рублей — набивает цены на свои книги, но нечего делать. Купил у него за пятерку «Краткий философский словарь». И еще книжку о Ницше — с точки зрения марксизма, очень нужную мне и полезную. <...>».

#### 4.

<sup>1</sup> Письмо АЭ сохранилось. Приводим его текст:

«4.4.41

Дорогой мой Мур! Получила твою открытку от 10.3.41, первый привет после такого перерыва. Пишу тебе вечером после работы, радио чуть попискивает, и глаза слипаются. Устала. Мулька писал мне о тебе много хорошего. Как жаль мне, братик, что мы так далеко друг от друга! И как много думаю о тебе, и другим рассказываю, какой у меня брат. Меня тронула твоя фраза о том, что ты «охладел к призванию художника, и никогда не вернусь назад». Спроси у Мульки — он объяснит тебе, что понятия «всегда» и «никогда» не существуют, и почему. Рада, что изучаешь Маяковского и Багрицкого. Нашел ли среди моих книг сборник о Маяковском под редакцией Лили Брик? Нашла ли мама французские старинные альманахи, которые я ей предназначала? Почему не ходишь в театры? С такой теткой, как Лиля, «все пути и все дороги (в театр) для тебя открыты». Я бы с удовольствием сходила сейчас в театр им. Вахтангова, на что-угодно, кроме, само собой разумеется, «Аристократов» Погодина.

Ты будешь смеяться, но за последние полтора года я сама сделалась знатоком Чайковского, не слыша при этом ни единой его ноты. Прочла о нем очень много, и очень он



меня заинтересовал — неврастеник, или, как говорит Мулька, «шизофреник», не гений (даже в детстве не вундеркинд, а просто впечатлительный ребенок), мягкий, неуверенный в себе, начавший композиторскую деятельность поздно и случайно, обожавший семейную жизнь и через год совместной жизни разведшийся с женой, одним словом «ам слав» во всем своем величии, во всей своей слабости. Советую тебе, если это тебя заинтересует, раздобыть книгу брата Чайковского, Модеста, о П. Чайковском, а также «Переписку Чайковского с Н. Ф. фон-Мекк» (последнее существует в двух томах, изданных «Академия».) Так ты собираешься быть критиком? По-моему, ты им всегда был. В общем семья наша из литературы не выходит. Со временем — или когда оно будет, буду писать и я. «Записки из Живого Дома».

Север красив, величествен и холоден. Не верится тому, что существуют теплые моря, и что где-то цветут мимозы. Собаки и кошки ходят в замечательных природных шубах. У меня на работе есть старый рыжий кот с объединенными ушами, я зову его — Старик, Рыжий, и он бежит, говорит дрожащий протяжный «мяу», и устраивается на моих коленях, что неудобно ни ему, ни мне. Очень хочется, чтобы Мулька приехал. Если да, то пусть привезет альманах «Дружбу народов», я боюсь что по почте вдруг не дойдет. В выходной напишу подробнее. Крепко целую. Пиши. Аля

⟨На полях:⟩ Передай от меня привет Лиле, Зине, Вере, Коту, Дмитрию Николаевичу и Нинке моей, с которой было «так мало прожито, так много пережито». Сейчас по радио передают «Письмо Татьяны». Артистку учила определенно *не* Лиля».

## 5.

<sup>1</sup> Ленфильм, 1941, сцен. С. Михалкова и М. Розенберга, реж. Эйсымонт.

<sup>2</sup> Сведениями об этом фильме мы не располагаем.

<sup>3</sup> Фильм французского режиссера Жюльена Дювилье (1896—1967), снятый в 1938 г. на американской студии «Метро-Голдвин-Мейер». Эта романтизированная киноверсия биографии Иоганна Штрауса пользовалась необыкновенной популярностью в предвоенные годы в СССР.

<sup>4</sup> self-control (англ.) — самообладание.

## 6.

<sup>1</sup> Это письмо МЦ не сохранилось.

<sup>2</sup> Об обстоятельствах знакомства МЦ с Н. Н. Асеевым сохранилось несколько свидетельств. 16 мая 1941 г. МЦ писала дочери: «Подружилась с Н. Н. Асеевым, т. е. это он со мной решил дружить, прочтя какой-то мой перевод, и даже скажу — какой: про какую-то бабу, которая варила пиво и потом повесилась, предварительно сорвав распяты́е с гвоздя, — на том же гвозде. Это произвело на него сильное впечатление, и теперь мы — друзья». (Письма к дочери, с. 48). В ДМ всё это выглядит не так зловеще-провиденциально: «1.IV.41. Вчера мамаша и я познакомились с Асеевым — были у него в гостях. Пришел Андроников, который гениально изображал Пастернака, Толстого. Асеев в восторге от перевода мамаша «Раненый барс» В. Пшавелы. Он говорит, что это «потрясающе, всё перевертывает». Был Крученых. <...>».

<sup>3</sup> В эти дни перед МЦ стояла задача найти деньги (5 тысяч руб.) для оплаты следующего срока аренды снимаемой комнаты на Покровском бульваре. Об этом она советовалась, в частности, и с Асеевым. ДМ: «1.VI.41. Вчера были у Асеева. Он говорит, что 5000 достать можно — мать должна составить книгу переводов — т. к. стихи не берут. Он поговорит об этом с Мартыновым — редактором предполагаемой маминой книги стихов <речь идет о составленном МЦ в 1940 г. сборнике избранной лирики.— Е. К.>. Асеев говорит, что книга переводов

пойдет наверняка — не то что книга стихов, и что под эту книгу мать сможет получить 5000. Насчет комнаты Асеев говорит, что пока нужно держаться за эту комнату, а там увидим. <...>».

<sup>4</sup> В ДМ много записей об этой, тягостной для 16-летнего возраста, повинности; в качестве примера приведем такую: «25.III.41. <...> Мамаша в последнее время подружилась с какой-то служащей из Группкома Главлита, Ниной Герасимовной <Яковлевой — Е. К.> и часто к ней ходит. В четверг она где-то будет читать свои стихи и там будет много народа, где-то в мастерской какой-то скульпторши. Мать всячески приглашает меня и к Нине Герасимовне и на чтение и говорит, что ее знакомые к моим услугам, но я полагаю, что я просто не могу ходить в гости как «сын Марины Ивановны» — что мое положение среди ее знакомых — неравноправно. <...> Кроме того, мне надоели поэты, старики, переводчики и Крученыхи». МЦ в вышецитированном письме писала дочери: «Он <Мур — Е. К.> необычайно-серьезен, накупает книги о критике (некоторые, потом, быстро продает), ходит в концерты, и никуда со мной ходить не хочет — никогда, а если когда и идет — в гости, то силком, как волк на аркане» (Письма к дочери, с. 49).

<sup>5</sup> Книга в архиве МЦ не сохранилась. Под «посвящением» ГЭ имеет в виду, очевидно, дарственную надпись на книге.

## 7.

<sup>1</sup> Дата письма — день встречи МЦ с Ахматовой. В ДМ есть запись об этом: «7.VI.41. Сегодня мать видалась с Ахматовой у Ардова, который говорил о моих рисунках и что ими можно зарабатывать. Это интересно, нужно будет ему позвонить <...>».

<sup>2</sup> Зал Московской филармонии им. П. И. Чайковского на пл. Маяковского.

<sup>3</sup> Роман французского писателя Ф. Карко (1930).

<sup>4</sup> Это замечание наводит на мысль об ошибке ГЭ в письме 5; похоже, что речь идет о «Песне любви» (1930) — первом итальянском звуковом фильме.

<sup>5</sup> Певица, героиня «Большого вальса» (см. примеч. 3 к письму 5).

## 8.

<sup>1</sup> В этой кепке на бритой голове ГЭ запечатлен на групповой фотографии вместе с МЦ, А. Е. Крученых и Л. Б. Либединской, снятой накануне дня написания письма — 18 июня 1941 г. в Кускове.

<sup>2</sup> Упоминаемую школьную знакомую ГЭ звали Валентиной Предатько; с нею он продолжал знакомство до самого своего призыва в армию в 1944 г.

<sup>3</sup> «Киноконцерт, 1941» включал в себя сцену из «Риголетто» с участием С. Я. Лемешева.

<sup>4</sup> Центральная студия, 1941, фильм для детей.

<sup>5</sup> Второй роман из цикла «Реальный мир» (1936), русский перевод (Э. Триоле) — Л. Арагон. Собр. соч. ГИХЛ, М., 1958, т. 3.

## 9.

<sup>1</sup> Написано в Чистополе, куда ГЭ приехал из Елабуги после смерти МЦ. Путь до Елабуги, десятидневное пребывание там и отъезд ГЭ описаны в ДМ достаточно полно. Привожу здесь составленную мной в 1975 г. хронику этих дней по ДМ и с цитатами из него.

8 августа 1941 г. МЦ и ГЭ выехали из Москвы. ДМ: «8.VIII.41. Suis à bord du «Alexandre Pyrogoff» qui vogue sur le canal Moscou — Volga. Après de tragiques journées, tragiques surtout par le manque de décisions concrètes et par le changement presqu'irréel de ces décisions — et après un embarquement

cauchemaresque, enfin, nous sommes partis. A Gorky — nous changeons de train fluvial. <...>». («Пишу на борту «Александра Пирогова», который идет по каналу Москва — Волга. После трагических дней, трагичных главным образом из-за отсутствия конкретных решений и из-за почти-нереальной перемены этих решений — и после кошмарной погрузки, мы, наконец, уехали. В Горьком предстоит пересадка на другой пароход».)

18 августа на пароходе «Советская Чувашия» приплыли в Елабугу. Всех прибывших поселили в библиотеке техникума. С этой группой эвакуированных была представительница Литфонда Струцовская. 18-го же МЦ дала телеграмму в Чистополь, о возможности устройства там, на имя Лейтес, писательницы, плывшей вместе с ними и сошедшей в Чистополе.

19-го МЦ ждет ответа на телеграмму и не предпринимает попыток устройства в Елабуге.

20-го МЦ ждет ответа, но Лейтес, вероятно, уехала в Берсут, поэтому не отвечает. МЦ была в Горсовете — работы для нее нет, кроме места переводчицы с немецкого в НКВД; багаж пока находится на пристани и МЦ сомневается, стоит ли его перевозить, пока есть надежда на Чистополь.

21-го МЦ с сыном переезжают в комнату, предназначенную им Горсоветом.

22-го МЦ приняла решение съездить в Чистополь и выяснить всё на месте.

24-го, в 2 ч. дня, взяв с собой «несколько вещей на продажу», МЦ вместе со Струцовской на пароходе уехала в Чистополь. ДМ: «Настроение у нее отвратительное, самое пессимистическое. Предлагают ей место воспитательницы; но какого чорта она будет воспитывать? она не шиша в этом не понимает. Настроение у нее — самоубийственное: «деньги тают, работы нет». Оттого-то и поездка в Чистополь, быть может, как-то разрядит это настроение».

26-го ночью ГЭ получил телеграмму МЦ: «Ищу комнату. Скоро приеду. Целую».

28-го МЦ вернулась в Елабугу.

29-го МЦ с сыном решили на следующий день, 30-го, уехать в Чистополь, где ничего конкретного нет, но обещают устроить.

30-го от этого решения МЦ отговорили спутницы по елабужской группе эвакуированных Саконская и Ржановская, и по их совету МЦ пошла узнавать про работу в огородном совхозе. ДМ: «Мать как вертушка: совершенно не знает, оставаться ей здесь или переезжать в Чистополь. Она пробует добиться от меня «решающего слова», но я отказываюсь это «решающее слово» произнести, п. ч. не хочу, чтобы ответственность за грубые ошибки матери падала на меня».

31-го МЦ покончила с собой, оставив три письма, написанных на почтовых карточках: сыну, Н. Н. Асееву и товарищам по группе эвакуированных.

2-го сентября МЦ была похоронена на елабужском кладбище на средства Горсовета, на следующий день ГЭ выехал на пароходе в Чистополь. 4-го сентября он пришел к Н. Н. Асееву с известием о смерти матери и с ее предсмертным письмом, тот был «совершенно потрясен». В этот же день Асеев был с ГЭ в райкоме партии и добился разрешения прописать его у себя. Однако Асеева вызывают в Москву и его возвращение — вопрос недолгого времени. ГЭ тоже решает возвращаться в Москву, Асеев пишет в Литфонд ходатайство о разрешении ГЭ возвращения в Москву. ГЭ распродает вещи и ищет попутчиков на обратный путь. ДМ: «Есть некий Боков, который вместе с Пастернаком провожал нас в Елабугу — теперь он приехал в Чистополь, чтобы выяснить положение семьи своей и дня через 2—3 отправляется в Москву». 10-го сентября из Москвы приходит телеграмма директора Литфонда Хмары с распоряжением о зачислении ГЭ в детский дом Литфонда в Чистополе. К этому времени относятся оба публикуемых письма. Дальнейшее развитие истории было таково: 21 сентября в Чистополь приехал Хмара, ГЭ был у него на приеме и получил совет

возвращаться в Москву. 22-го Хмара дал ГЭ записку в Управление железных дорог в Казани. И 30 сентября, «после кошмарного путешествия», ГЭ добрался до Москвы.

<sup>2</sup> «11.IX.41

Митя, старик!

Я пишу тебе, чтобы сообщить, что моя мать покончила с собой — повесилась — 31-го августа. Я не собираюсь распространяться об этом: что сделано — то сделано. Скажу только, что она была права, что так поступила, и что у нее были достаточные основания для самоубийства: это было лучшее решение и я ее целиком и полностью оправдываю. После кошмарного путешествия я переехал в Чистополь, где живет много семей эвакуированных писателей. После некоторого времени пребывания у Асева и продажи всего того, что осталось от матери (это составило около 2.000 руб.), я примирился с мыслью чтобы, несмотря на бомбежки и прочее, вернуться в Москву. Я собрался, запаса пропуском и готов был уехать пароходом до Горького, как меня вызвал директор Детского дома Литфонда и показал мне телеграмму из московского Литфонда, пришедшую на его имя и предписывающую ему зачислить меня в этот «Детдом» детей московских писателей (там все возрасты). Это дает мне пристанище, бесплатные «стол и дом», а главное возможность учиться в школе, в 9-м классе вместе с остальными детьми писателей. Серьезно всё обдумав, я принял решение остаться, главным образом из-за того, что здесь я буду учиться, тогда как в Москве — кто знает? Решение это далось мне нелегко — я безмерно хотел бы увидеть тебя, поговорить с тобой, увидеть Москву и Мулю, и т. д., но пресловутый здравый смысл... Впрочем, я уверен, что на моем месте ты бы тоже остался. Теперь хочу, чтобы ты знал: как бы ни сложились в будущем обстоятельства, придет день, когда я вернусь в Москву. Все мои усилия направлены на это. И Детдом, как только будет возможно, сразу же вернется в Москву (там немало «детей

знаменитостей»). Со своей стороны сделай всё возможное, чтобы быть в Москве, если ты уедешь, как только это станет возможным. И учитывая всё это, мы несомненно снова встретимся. Очень прошу тебя послать мне в Чистополь *телеграмму* с сообщением, где ты находишься: мне очень важно не потерять тебя из виду. Очень тебя прошу. А теперь говорю тебе: «Пока, старик». Как бы ни было, мы в конце концов встретимся. Верь в будущее — оно наше. Жму руку. Твой друг Мур.

P.S. Писем не пиши — они идут слишком долго».

Сохранившееся в архиве Е. Я. Эфрон, письмо это, видимо, так и не попало к адресату.

## II ТАШКЕНТ. 1942—1943

10.

<sup>1</sup> С. Д. Гуревич был командирован в г. Куйбышев.

<sup>2</sup> ГЭ месяц прожил у тетки и пытался официально закрепиться в Москве. Так, согласно ДМ, 8 октября 1941 г. он ходил к И. Г. Эренбургу, после чего, удостоверившись, что надежды на прописку в Москве у него нет, решил вторично эвакуироваться. Местом эвакуации он избрал Ташкент потому, что узнал о нахождении Д. В. Сеземана «где-то в Средней Азии».

<sup>3</sup> handicap (англ.) — помеха; в скачках — невыгодное положение перед началом состязаний.

<sup>4</sup> «Поэма без героя».

<sup>5</sup> Лицо не установлено.



<sup>1</sup> До этого письма ГЭ послал тетке ряд телеграмм о получении денег и с просьбами о продаже его вещей и высылке возможных сумм за проданное. В открытке от 27.III.1942 ГЭ сообщал: «Очень помогает Ахматова, А. Эфрос. Наладил связь с Мулей; он — в Куйбышеве. Когда будет надо, то протелеграфирую, чтобы вы еще кое-что продали и прислали денег; пока удастся экономить кое-как».

<sup>2</sup> К. М. Эфрон, будучи студентом биофака, был эвакуирован в Ашхабад вместе с Университетом. Упомянутое пальто ГЭ получил с оказией, о чем сообщил Е. Я. Эфрон 8 мая 1942 г.

<sup>3</sup> Весной 1941 г. МЦ подружилась с Б. А. Садовским и его женой, жившими в помещении бывшей трапезной Новодевичьего монастыря. Б. А. Садовской много лет был разбит параличом, однако до самой войны собирал у себя избранное литературное общество. Перед своим отъездом в эвакуацию МЦ привезла к Садовским на хранение часть своего архива, библиотеку и некоторые вещи.

<sup>4</sup> С К. Л. Зелинским ГЭ познакомился весной 1940 г. в Голицыне; во многих записях ДМ он выделяет Зелинского из всех тогдашних обитателей Дома писателей, как интересного собеседника и умного человека. ДМ: «28.III.40. <...> Вчера навестил меня <у ГЭ был грипп — Е. К.> критик Зелинский — он умный человек, с хитрецей. Он был когда-то во Франции — служил в посольстве, и знает Париж. Он меня ободрил своим оптимистическим взглядом на будущее — что ж, может он и прав, что через 10—15 лет мы перегоним капиталистов. Конечно, не нужно унывать от трудных бытовых условий, не нужно смотреть обывательски — это он прав. Сегодня он едет в Москву и привезет мне книжек советских авторов, и, главное, несколько номеров «Интернациональной литературы».

«Инцидент с книгой» МЦ произошел в конце 1940 г. Он достаточно освещен в биографической литературе (см., напр.,

книги М. Белкиной, В. Швейцер). ГЭ тем легче было спустя полтора года «великодушно простить» Зелинского, потому что и в момент «инцидента» он относился к его позиции достаточно объективно. ДМ: «23.XII.40. <...> Те стихи, которые мать понесла в Гослит для ее книги, оказались неприемлемыми. Теперь она понесла какие-то другие стихи — поэмы — может, их напечатают. Отрицательную рецензию, по словам Тагера, на стихи матери дал мой голицынский друг критик Зелинский. Сказал что-то о формализме. Между нами говоря, он совершенно прав, и конечно я себе не представляю, как Гослит мог бы напечатать стихи матери — совершенно и тотально оторванные от жизни и ничего общего не имеющие с действительностью. Вообще я думаю, что книга стихов — или поэм — просто не выйдет. И нечего на Зелинского обижаться, он по-другому не мог написать рецензию. Но нужно сказать к чести матери, что она совершенно не хотела выпускать такой книги, и хочет только переводить. <...>».

<sup>5</sup> В. Я. Эфрон в феврале 1942 г., как жена репрессированного М. С. Фельдштейна, была выслана из Москвы в Кировскую область, где и умерла в 1945 г.

12.

<sup>1</sup> Подробнее о нем см. в предисловии.

13.

<sup>1</sup> Переезд ГЭ в отдельную комнатку в Доме писателей на ул. К. Маркса, 7 состоялся в середине июля 1942 г. Описание этой комнаты оставил товарищ ГЭ по ташкентской школе И. И. Музафаров. «Жил он на углу ул. К. Маркса и Инженерной (на Красной площади г. Ташкента). Стоял двухэтажный дом (теперь его снесли, после землетрясения). На чердаке этого дома была сделана фанерная будка (размером не более 2х2

метра) — ни света, ни отопления, ни воды. В холод отапливался керосинкой, а у входа висел умывальник с подвижным носиком и таз, железная кровать, бедная постель, маленький стол и один табурет. Вот и всё жилье. Приобрести эти «апартаменты» помог кто-то из писателей». (Письмо к И. В. Кудровой от 20.V. 1974; цитирую по копии, в свое время любезно подаренной мне адресатом).

<sup>2</sup> А. А. Саакянц познакомила меня с копией короткого письма ГЭ к С. Д. Гуревичу, написанного в этот же день. К сожалению, текст копии неисправен, поэтому мы не включаем его в корпус, а приведем здесь лишь выдержку: «〈...〉 Вчера получил твой перевод в 150; ждал я его очень; шел он 20 дней. Большое спасибо — он пришел впору.

Я всё еще не переехал, но перееду на днях, по-видимому в дом Писателей на ул. Маркса — там живет Ахматова, которая мне очень много помогает и оказалась человеком не соответствующим своей репутации «непроницаемости»: когда ее хорошо знаешь, то видишь, что это остроумный, трезвый, культурный и хорошо осведомленный человек, отнюдь не «сфинкс» или «богиня». 〈...〉».

<sup>3</sup> За месяц до этого письма ГЭ телеграфировал Е. Я. Эфрон: «23.3.42. Ликвидируйте макинтош телеграфируйте деньги пришлите вещевую посылку летний костюм носки плащ адрес почтаamt востребования».

#### 14.

<sup>1</sup> Возвращение ГЭ в Москву осенью 1942 г. не осуществилось. Сохранилось письмо Л. И. Толстой к ГЭ, которое мы приводим здесь полностью.

«29/VI—42

Москва

Дорогой Георгий Сергеевич,

Ваше письмо дошло удивительно быстро. Хочу Вас успокоить, что о Вас я не забыла и не забуду. Алексей Николаевич решил

хлопотать о Вашем возвращении в Москву к середине августа и сейчас наводит справки как это сделать. Я тоже думаю, что это целесообразно и просто необходимо для Вашего благополучия.

Ваше письмо я передала Вашей тетушке лично. Она очень расспрашивала о Вас и очень озабочена Вашей судьбой. О Вас лично я ничего кроме хорошего сказать не могла, а говоря об условиях жизни не щадила черных красок. Мы по-прежнему думаем в конце июля побывать на несколько дней в Ташкенте. Сообщите моей маме, как Вас разыскать, если Вы уедете на полевые работы. Шлю Вам искренний привет. Пишите о себе.

Л. Толстая».

16.

<sup>1</sup> Письму предшествовали следующие телеграммы:

«12.7.42. Случилась катастрофа срочно ликвидируйте всю библиотеку новодевичьем высылайте деньги вещей не трогайте продолжение следует.»; «12.7.42. Все подробности письме жду денег ликвидации библиотеки помните серьезности вопроса Ташкента главпочтамт востребования Эфрон»; «12.7.42. Людмиле Ильиничне не сообщайте ничего деньги решат вопрос всей моей езды не беспокойтесь действуйте.»

17.

<sup>1</sup> По свидетельству И. И. Музафарова ГЭ одно время подрабатывал, как художник: «Он рисовал на ул. К. Маркса (между Универмагом и Университетом) Окно Тасс-УзТАГ <Узбекское Телеграфное Агентство — Е. К.>. Здесь во время войны рисовали плакаты (патриотические), карикатуры, лозунги. И получалось всё это у него весьма прилично. Мы же не умели рисовать и только наблюдали за ним. Кроме какой-то суммы, ему давали хлебную карточку и карточку в столовую».

<sup>1</sup> Это письмо до АЭ, вероятно, не дошло, во всяком случае в архиве его нет.

<sup>2</sup> И. И. Музафаров вспоминал, что его мать часть приносила ему контрамарки и он всегда приглашал с собой ГЭ.

<sup>3</sup> «Маскарад» — Ленфильм, 1941, сцен. и реж. С. Герасимов; «Оборона Царицына» — Ленфильм, 1942, сцен и реж. С. и Г. Васильевы; «Антон Иванович сердится» — Ленфильм, 1941, сцен. Е. Петрова и Г. Мунблита, реж. А. Ивановский.

<sup>4</sup> Sabotin (фр.) — комедиант; притворщик.

<sup>5</sup> Заглавие сборника лирики П. Валери «Charmes» (1922) обычно переводится как «Чары» или «Заклятия». «Взгляд на современный мир» — собранный в 1930-е гг. том его публицистики.

<sup>1</sup> Инициатива этой лжи, по-видимому, принадлежала С. Д. Гуревичу. Его переписка с АЭ, оборвавшаяся в июле 1941, возобновилась в мае 1942 г. Получив три ее письма, пересланные ему в Куйбышев, в своем первом ответном он, в частности, писал: «〈...〉 Твой брат и мать вместе с группой писателей отправились в турнэ. Мать и сейчас колесит, а с братом я держу связь, сообщил твой адрес, и он, наверное, уже написал тебе, судя по его последней открытке. О Сереже слышал несколько месяцев тому назад от одного его бывшего соседа по квартире. Сережа был здоров, хотя и нервен, как всегда. 〈...〉». О смерти матери АЭ узнала только в июле 1942 г. от Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич. «Дорогие мои Лиля и Зина! — откликнулась она 13 июля на эту весть, — Ваше письмо с известием о смерти мамы получила вчера. Спасибо вам, что вы первые прекратили глупую игру в молчанки по поводу мамы. Как жестока иногда бывает жалость!». В письме от 30 июля 1942 г. С. Д. Гуревич в свою очередь написал АЭ правду о МЦ, извинившись за свое

первоначальное умолчание: «〈...〉 Мама умерла 31 августа 1941 г. в г. Елабуге, где она жила с группой других писателей. На первых порах у всех не очень ладилось с устройством жизни на новом месте. Мама уехала туда вопреки моим самым категорическим возражениям. Она могла привести только один довод — безопасность Мурзила. Он был всё время с нею, но однажды отлучился на воскресник. В этот день мама покончила с собою. 〈...〉 Произошло это очень скоро после того, как ее литературный авторитет стал восстанавливаться и она уже прочно входила в жизнь. Война этому помешала. Мама не сумела преодолеть общее и личное ощущение тревоги и опасности и привела в исполнение свою давнюю угрозу. 〈...〉».

<sup>2</sup> Т. е. после ареста АЭ на болшевской даче 27 августа 1939 г.

<sup>3</sup> E. Curie. Madame Curie. Paris, Gallimard, 1938. Эту книгу высоко ценила МЦ, в одном из писем к Тесковой назвав ее «лучшим памятником дочерней любви и человеческого восхищения».

<sup>4</sup> «Баран» — детская игрушка ГЭ.

<sup>5</sup> Роман А. Жида (1925).

<sup>6</sup> Тотальная критика ГЭ своего окружения в первых полученных ею письмах, видимо, обеспокоила АЭ не меньше, чем материальные трудности его жизни, о чем она написала С. Д. Гуревичу. Последний успокаивал ее в ответном письме: «28.VIII.42. 〈...〉 Прежде всего — о том, что тебя беспокоит. Мурзилу я буду ежемесячно высылать 300 руб. За истекший месяц послал ему 800 рублей, которые он уж получил в три приема и, как он сообщает мне телеграммой, частично употребил на уплату долга. На днях мы с Лилей держали совет и установили, что Муру надо посылать 900 руб. в месяц. Как это сделать — мы тоже решили, и Мур извещен о том, что эта сторона дела налажена. Что касается моральной стороны, то мне кажется, что в письмах Мурзила несомненно есть немножко бравады, но самого невинного и законного свойства, которая искажает его подлинные душевные свойства. Я и Лиле говорил, что самое главное — физически сберечь Мурзила. Ну, и ясно,

что если мы обеспечим его материально, то и морально ему будет гораздо менее трудно: «...».

20.

<sup>1</sup> Роман Л. Селина в русском переводе Э. Триоле издан ГИХЛ'ом в 1934 г.

<sup>2</sup> О чем идет речь, можно понять из письма А. В. Сеземана жене 1940 г.— см. «Болшево. Литературный историко-краеведческий альманах», № 2, 1992, сс. 225—226.

<sup>3</sup> Имеется в виду А. В. Эйсер.

<sup>4</sup> По-видимому, ГЭ говорит о В. А. Трэйл. В последнем браке она была замужем за англичанином Робертом Трэйлом и жила в Лондоне.

<sup>5</sup> Peinture (фр.) — живопись.

21.

<sup>1</sup> В сентябре — октябре 1942 г. С. Д. Гуревич в письмах неоднократно просил АЭ «надавить» на теток, чтобы те продали что-то из вещей С. Я. Эфрона и послали денег ГЭ для уплаты до конца года его долга в 2 тысячи руб. ««...» Старушки упорно не хотят реализовать, скажем, Сережины чемоданы и т. п., хотя всё это безусловно дело нужное. С другой стороны Мурзил настаивает на продаже маминой библиотеки. Но этому я решительно воспротивился. Пока ты не вступишь во владение всем литературным наследством, я не хочу, чтобы уплыла хоть одна книжка»,— писал он 30.X.1942. В ответ АЭ предложила, не трогая отцовских вещей и материнской библиотеки, продать для помощи брату ее собственные вещи. С. Д. Гуревич отвечал по этому поводу 23.XI.1942: ««...» Все те вещи, которые у тебя были, в целостности и сохранности находятся у меня за исключением небольшой части — у Нинки. К сожалению, привезенные мамой вещи для тебя она вместе со своими пожитками, не уведомив меня, фактически подарила одному

семейству. Сделано это было перед самым отъездом мамы из Москвы, когда она сильно нервничала и от прощальной встречи со мною уклонилась, опасаясь, что я расстрою ее поездку. Продавать что-либо из твоих вещей нет смысла. Они очень и очень понадобятся. А Лилю надо заставить не дурить, и я надеюсь, что твое письмо возымеет, наконец, нужное действие». Так или иначе, но от декабря месяца сохранились две телеграммы ГЭ теткам: «18.12.42. Пятьсот получил благодарен выплатил две тысячи продолжаю учиться школе пишите чаще очень одинок привет Георгий» и «21.12.42. Получил двести пятьдесят спасибо пишите чаще как Вера Мити Кота никаких известий полгода привет Георгий».

Чтобы закончить о библиотеке МЦ, приведу все известные факты. По настоятельным просьбам АЭ освободить архив и библиотеку матери от Садовских С. Д. Гуревич начал действовать и в марте 1943 г. сумел это осуществить. В письме от 11 марта он сообщал АЭ: «〈...〉 Аленька, сегодня я наконец вырвал мамин архив из лап этих двух безумцев. 〈...〉 По транспортно-техническим причинам пришлось везти его не к Лиле, а к себе. К тому же сундучище огромный, и в лилином углу ковчеге он бы едва ли и поместился. Внимательно я его не рассматривал, но т. к. на последнем этапе путешествия мне пришлось сперва выгрузить и перенести в дом содержимое, а затем снова уложить его в сундук, я бегло оглядел всё. Похоже, что архив весь в сохранности. В том числе рукописи, письма, книги, рисунки, фото, гравюры. 〈...〉». Впоследствии рукописи и часть книг были перевезены к Е. Я. Эфрон в Мерзляковский пер.; книги, оставшиеся на хранении у С. Д. Гуревича, постигла печальная участь. 7.X.1949 он писал АЭ в туруханскую ссылку: «〈...〉 Что касается Марининых книг (рукописей у меня нет и не было), они, вместе со всеми моими книгами и прочим земным достоянием погибли во время пожара, о коем ты знала еще до отъезда. 〈...〉».



22.

<sup>1</sup> А. Жид.

25.

<sup>1</sup> Из стихотворения Н. Гумилева «Слово» (1921).

<sup>2</sup> Роман А. Жида (1914).

27.

<sup>1</sup> Midinette (фр.) — мастерица (в швейной, шляпной и т. п. мастерской).

<sup>2</sup> Après-midi (фр.) — время после полудня.

28.

<sup>1</sup> Видимо, эквивалент «сосен» МЦ — принятое в домашнем языке обозначение болшевской дачи.

<sup>2</sup> Открытка сохранилась. Это самодельная маленькая открыточка из крафтовой бумаги, сложенная вдвое, на обложке рисунок акварелью, изображающий спускающуюся с горы на санках блондинку в голубом платье с чернобуркой на плечах и букетом роз в руках. На внутренней стороне открытки — следующий текст:

«Ракпас, 1.12.42.

Дорогого братишку Мурзила поздравляю с наступающим 1943 годом, желаю ему:

1) встретиться со своей сестрой, и со всей семьей, в 1943 году.

2) встретить на своем пути девушку еще в двадцать раз прекрасней, чем на моей картинке, — в 1943 году.

3) жить, учиться, отдыхать и работать в нормальных, мирных условиях — с 1943 года и далее.

4) и так до бесконечности, ибо пожеланий у меня — для тебя (да и для себя!) столько, что бумаги не хватит определенно,

поэтому целую тебя крепко, крепко, и твердо надеюсь, что 1943 год принесет тебе всё вышеизложенное.

Твоя сестра Аля.»

30.

Опубл. впервые в газ. «Русская мысль», Париж, № 3894, с незначительными купюрами.

32.

<sup>1</sup> Письмо сохранилось. Приводим его текст полностью.

«14/I—43 г.

Дорогой Георгий Сергеевич, ужасно спешу т. к. хочу послать письмо с оказией, иначе оно будет идти 3 недели.

Ал<ексей> Ник<олаевич> очень хочет Вам помочь и обещает это сделать, я со своей стороны обещаю Вам помогать всегда по мере сил и прошу Вас писать мне о Ваших нуждах. Но Ал<ексей> Ник<олаевич> говорит, что вызвать Вас, кончающего школу, сейчас, среди года, невозможно. Нечем аргументировать для официальных демаршей такой вызов. Но мама моя уедет не раньше конца марта — начала апреля. У нас нет еще здесь достаточного помещения для всей семьи. Я ей пишу и прошу помогать Вам, что она всегда делает с удовольствием. После ее отъезда Вам, до окончания школы, останется потерпеть месяца два. На это время я Вам вышлю денег. Напишите мне ск<олько> Вам будет нужно чтобы не голодать. А *как только* вы окончите школу А. Н. поможет Вам выехать в Москву.

Пишите мне. Желаю всего наилучшего, сил и здоровья. Жму руку Л. Толстая

<На полях:> Ваше не датировано, получено оно позавчера. Интересно ск<олько> оно шло — на штемпелях ничего не разобрать».

40.

<sup>1</sup> Эти здесь и далее упоминаемые главы книги (романа) не сохранились.

<sup>2</sup> ГЭ вел дневник с 14 лет. Всего сохранилось 16 тетрадей — дневники №№ 2—17 (по авторской нумерации) за время с марта 1940 г. по август 1943 г., это в общей сложности более 700 стр. Дневник № 1 пропал при аресте АЭ.

<sup>3</sup> Роман Олдоса Хаксли (1928).

<sup>4</sup> C'est toujours ça (фр.) — это кое-что.

<sup>5</sup> Après-tout (фр.) — в конце концов.

43.

<sup>1</sup> «Холостяки» — роман А. де Монтерлана 1934 г. «Девушки» (1936), «Жалость к женщинам» (1936), «Демон добра» (1937), «Прокаженные» (1939) составляют тетралогию. «У истоков желания» — сборник эссе 1923-27 гг.

<sup>2</sup> Эти книги Ж. П. Сартра были новинками в последние месяцы пребывания ГЭ в Париже: «Тошнота» вышла в 1938 г., «Стена» в 1939 г.

44.

<sup>1</sup> Речь идет о досрочном освобождении из лагеря А. В. Сеземана.

46.

<sup>1</sup> Историческая мелодрама, сцен. Р. Шерифф, реж. А. Корда.

47.

<sup>1</sup> Сегаль (Бродская).

48.

<sup>1</sup> Через несколько дней ГЭ получил письмо от Л. И. Толстой. Приводим его текст.

«11/VI—43 г.

Дорогой Георгий Сергеевич,  
я о Вас не забывала и хлопотала всё время. Обращалась в разные места и счастлива, что наконец в этом письме посылаю Вам

ПРОПУСК В МОСКВУ. Я с большим сочувствием и интересом читаю Ваши письма. Люди одаренные, находящие в себе силы преодолевать большие трудности в жизни, обычно получают от нее в конечном итоге гораздо больше, чем те кто легко живут. Конечно рассуждать об этом легче, чем переживать это. Но я надеюсь, что с переездом в Москву жизнь Ваша изменится к лучшему, Вы найдете интересную работу, будете жить у родных, учиться, а также найдете круг ценных для Вас людей.

От души желаю Вам успеха. Как только приедете в Москву непременно зайдите к нам — мы с Вами близкие соседи. Желаю Вам счастливого пути и всего всего лучшего

Жму руку. Л. Толстая

Р. С. Мама и Алексей Ник<олаевич> шлют Вам привет.

Вместе с пропуском посылаю Вам в этом письме *700 рублей*.»

49.

<sup>1</sup> В открытке к Е. Я. Эфрон, написанной в тот же день, ГЭ по этому поводу писал: «...и даже написал (4-ая редакция) первую главу романа (кстати, только Вы можете мне помочь в написании первых 3-х глав)», что позволяет предположить, что задуманный роман был историческим, или историко-семейным.

51.

<sup>1</sup> И, действительно, поздней осенью 1943 г. ГЭ был зачислен на 1 курс Литературного института Союза писателей в Москве.

52.

<sup>1</sup> Видимо, предыдущее письмо пропало при пересылке или не сохранилось у адресата.

<sup>2</sup> Книжечка не пропала, в настоящее время, вместе со всеми упоминаемыми здесь документами, она тоже хранится в РГАЛИ.

<sup>3</sup> Никаких сведений об этой поэме разыскать не удалось.

<sup>4</sup> 28.8.1943 ГЭ телеграфировал Е. Я. Эфрон: «Перевод получил благодарен преодолеваю препятствия отъезду предполагаю выехать восемнадцатого или двадцатого привет Георгий». И, наконец, в день отъезда из Ташкента, ГЭ посылает теткам последнюю телеграмму: «27.9.43. Выезжаю двадцать седьмого очень прошу приготовить переодеться необходимо мое посещение Толстых привет Георгий».

Переписка ГЭ с сестрой прервалась, и только в самом конце года АЭ, кочевавшая по лагпунктам, окликает брата нижеследующим письмом.

«Ижма, 26 декабря 1943

Дорогой мой Мурзил, не писала тебе целую вечность, и от тебя за всё время получила только одно письмецо, да на днях вернулось мне на Каменку одно посланное мною тебе месяца 4 тому назад, еще в Ташкент, письмо. Только от Нины узнала, что ты жив, приблизительно здоров и работаешь на заводе. Новая страница в твоей биографии. Что касается меня, то я наконец выбралась с чудесной Каменки, которую век не забуду. Выбиралась я оттуда целый месяц — 26 ноября прибыл на меня наряд в Княжпогост, или, выражаясь по-почтовому, в поселок Железнодорожный. И вот с тех пор я всё ехала — с сельхоза Каменка до станции Каменка и обратно. То вытряхну сено из матраса, то опять набью. То соберу вещи, то опять разложу. Издергалась до крайности, совсем перестала спать, бегала ко всем начальникам и заместителям, молилась все богам и святым, и наконец уехала, как всегда бывает — неожиданно, прямо с работы, в мокрой одежде и обуви. Ехала в самом настоящем поезде, на самой верхней полке, с еще двумя девушками (каменскими) и с бойцом, а вокруг дремала коми-молодежь, белокурые ребята, будущие ученики военной школы. Они шли пешком 600 километров до поезда, из самых глубин Коми-республики, и, как сам себе представляешь, намерзлись и устали, а поэтому спали, как убитые. Я ехала, радовалась, и мечтала, что еду домой. А ведь должен настать и этот день, правда?

В общем пока что я осталась на пол-дороге, между небом и землей, между Каменкой и Кн<яж>-Погостом, в Ижме. Прибыла туда вчера, 25 декабря — помнишь наши ёлки? а сегодня вышла на работу с бригадой плотников. Где, где только ни приходится работать! Через несколько дней рассчитываю тронуться в Кн<яж>-Погост. Пиши по адресу Ж. Д. район, Поселок Железнодорожный, ЦОЛП, мне. Мульке передай, что за 4 месяца имела от него только 2 открытки, а писала ему постоянно. Нине передай, что получила от нее письмо и открытку, ответила немедленно. Жду с огромным нетерпением весточек от всех. Не могу тебе передать, как я рада, что уехала с Каменки — у меня как гора с плеч. А главное, что к дому ближе. Мульке скажи, чтобы он писал Ксеше, не забывал ее. И пусть пришлет, если можно, немного денег. Крепко тебя обнимаю и люблю, привет всем.

Твоя сестра Аля.

<На полях:>

Только об одном сейчас мечтаю — как бы мне здесь не застрять!»

### Ш

## АРМИЯ. 1944

53.

<sup>1</sup> Дата установлена по содержанию. Написано в начале пребывания ГЭ в 84 запасном полку в подмосковном Алабине, где в ускоренном порядке проходила военная подготовка и формировались маршевые роты для отправки на фронт.

<sup>2</sup> Д. В. Сеземан в 1942 г. был арестован и осужден, но вскоре в связи с резким обострением туберкулеза ему удалось освободиться.

54.

<sup>1</sup> Dominus vobiscum (лат.) — Господь с вами.

55.

<sup>1</sup> Дата устанавливается по содержанию. Письмо передано с оказией.

57.

<sup>1</sup> Дата устанавливается по содержанию.

<sup>2</sup> Не сохранилось.

59.

<sup>1</sup> П. Валери. Избранное. Предисл. и пер. А. Эфроса. М., Гослитиздат, 1936.

60.

<sup>1</sup> В конце мая 1944 г. ГЭ был отправлен на Западный фронт. 27 мая 1944 г. он был зачислен в состав 7 стрелковой роты 3 стрелкового батальона 437 стрелкового полка 154 стрелковой дивизии, которая входила в состав 6-й армии 1 Прибалтийского фронта. (Сведения установлены С. В. Грибановым.)

61.

<sup>1</sup> Дата установлена по почтовому штемпелю.

<sup>2</sup> ГЭ пробыл студентом Литературного института СП СССР всего около четырех месяцев; сохранились его конспекты лекций 1 курса.

62.

<sup>1</sup> Парки — богини судьбы в римской мифологии. Напомним начало упомянутого стихотворения Мережковского (1892):

Будь что будет — всё равно.  
Парки дряхлые, прядите  
Жизни спутанные нити,  
Ты шуми, веретено.

Всё наскучило давно  
Трем богиням, вещим пряхам,  
Было прахом, будет прахом,—  
Ты шуми, веретено... и т. д.

65.

<sup>1</sup> В ноябре-декабре 1943 г. ГЭ работал комендантом общежития завода «Пролетарский труд».

66.

Написано на воинской открытке с изображением бойца с винтовкой и девизами: «Бью врага без промаха», «Смерть немецким захватчикам!». Штемпели: «Воинское», «бесплатное», «Просмотрено военной цензурой 08875», «6.7.44». Адрес: Москва, Мерзляковский пер. д. 16 кв. 27 Эфрон Е. Я. — Полевая почта 11126/А Эфрон Г. С.

Через три дня после написания этого письма ГЭ принял участие в бою — одном из бесчисленных боев так называемого «баграмяновского прорыва» (прорыва обороны немцев между Витебском и Оршей) — и, как записано в книге учета личного состава «убыл по ранению 7.7.44». 183 медсанбат, обслуживавший 154 дивизию, в июле-августе 1944 г. не имел возможности вести учет раненых, поэтому сведения о ГЭ на этом обрываются.

---



## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Агранович, возможно Евгений Данилович (1919–?), киносценарист 167
- Алеша — см. Сеземан А.В.
- Алеша («другой Алеша») — см. Эйснер А.В.
- Аля — см. Эфрон А.С.
- А. Н. — см. Толстой А.Н.
- Андроников Иракий Луарсабович (1908–1990), писатель, литературовед, мастер устного рассказа 24, 201
- Аполлинер Гийом (1880–1918), французский поэт 141
- Арагон Луи (1897–1982), французский писатель 29, 67, 79, 114, 143, 203
- Ардов Виктор Ефимович (1900–1976), писатель 202
- Асеев Николай Николаевич (1889–1963), поэт 25, 30, 31, 72, 201, 202, 205, 206
- Ася — см. Цветаева А.И.
- Ахматова Анна Андреевна (1889–1966), поэт 37–39, 41, 42, 45, 51, 64, 65, 86, 165, 202, 206, 208, 210
- Бабанова Мария Ивановна (1900–1983), актриса, с 1927 г. ведущая артистка Театра Революции — 45, 58
- Багрицкий Эдуард Георгиевич (1895–1934), поэт 19, 199
- Балтер Павел — соратник С. Я. Эфрона, архитектор. После прихода к власти Гитлера бежал с женой Хэди из Германии во Францию, сотрудник редакции органа возвращенцев «Наша Родина». После возвращения в СССР работал по специальности. Арестован 3 июня 1940 г. 68
- Балтер Хэди (Геди), жена П. Балтера 68
- Бальзак Оноре де (1799–1850), французский писатель 80
- Бать Лидия Григорьевна (1900–1980), литератор 42, 45, 55, 59, 60, 65, 68, 72, 73, 82, 90, 91, 102, 109, 111, 150, 160
- Белкина Мария Иосифовна (р. 1916), писательница 196, 208
- Бергсон Анри (1859–1941), французский философ-идеалист 45

- Бернанос Жорж (1888–1948), французский писатель 93
- Берсенев Иван Николаевич (1889–1951), режиссер и актер, с 1938 г. главный режиссер московского театра им. Ленинского Комсомола 58, 81, 98
- Благой Дмитрий Дмитриевич (1893–1984), литературовед, пушкинист 150
- Блок Александр Александрович (1880–1921), поэт 43, 86, 93, 128
- Блок Жан-Ришар (1884–1947), французский писатель и общественный деятель 28
- Бодлер Шарль (1821–1867), французский поэт 55, 62, 82, 128
- Боков Виктор Федорович (р. 1914), поэт 205
- Брик Лиля Юрьевна (1891–1978), литератор 199
- Брод Макс (1884–?), австрийский писатель; с 1939 г. жил в Палестине 43
- Бродский Николай Леонтьевич (1881–1951), историк литературы 150
- Буайе Л., французский певец 69
- Буало Никола (1636–1711), французский поэт, теоретик классицизма 91
- Буров Андрей Константинович (1900–1957), архитектор, художник 172, 173, 179, 181, 184, 185
- Буровы — см. Буров А.К.
- Вагнер Рихард (1813–1883), немецкий композитор, создатель жанра музыкальной драмы 27
- Важа Пшавела (Лука Разикашвили, 1861–1915), грузинский поэт 198, 201
- Вайян-Кутюрье Поль (1892–1937), французский писатель, коммунист, с 1926 г. главный редактор газеты «Юманите» 79
- Валери Поль (1871–1945), французский поэт и эссеист 24, 55, 62, 67, 76, 121, 123, 128, 131, 132, 142, 151, 185, 212, 222
- Валя — см. Предатько В.
- Вера — см. Эфрон В.Я.
- Вера большая — см. Трэйл В.А.
- Верлен Поль (1844–1896), французский поэт-символист 55, 62, 128

- Верней Луи (1893–1952), французский драматург 44, 45, 58
- Вирта Николай Евгеньевич (1906–1976), писатель, сценарист 37
- Гара А., французский певец 69
- Геди — см. Балтер Хэди
- Гейне Генрих (1797–1856), немецкий поэт 85, 86, 91
- Герасимов Александр Михайлович (1881–1963), художник, автор парадных многофигурных композиций 26
- Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832), немецкий поэт 91
- Гиацинтова Софья Владимировна (1895–1982), актриса; с 1938 г. в московском театре им. Ленинского Комсомола 58
- Гоголь Николай Васильевич (1909–1952), писатель 93
- Голль Шарль де (1890–1970), французский государственный деятель. В 1940 г. основал патриотическое движение «Свободная Франция», в 1943 г. — руководитель Французского национального комитета в Алжире, в 1959–1969 гг. — президент Французской республики 110
- Гордон Нина Павловна, урожд. Прокофьева (1908–1996), литературный секретарь М. Е. Кольцова, потом К. М. Симонова; подруга А. С. Эфрон 66, 71
- Горошевская Ирина Павловна, в 1938–1944 гг. жена А. В. Сеземана 68, 75, 194
- Горький Алексей Максимович (1868–1936), писатель 49, 95, 96, 98, 101, 130, 159, 160
- Готье Теофиль (1811–1872), французский писатель и критик, один из создателей «парнасской школы» 24, 55, 154
- Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776–1822), немецкий писатель-романтик, мастер фантастического и мистического гротеска 24, 93
- Грабарь Игорь Эммануилович (1871–1960), художник, искусствовед 26
- Гравэ Фернан, французский актер, исполнитель роли И. Штрауса в кинофильме «Большой вальс» 23
- Грин Александр Степанович (1880–1932), писатель 42, 45, 49, 62, 128

Гумилев Николай Степанович (1886–1921, расстрелян), поэт 216  
Гуревич Самуил Давыдович (1904?–1952?), журналист, переводчик, друг А. С. Эфрон 18, 26, 30, 32, 34, 41, 42, 56, 57, 63, 67, 70, 71, 81, 95, 98, 100, 102, 107, 111, 118, 125, 167, 184, 185, 199, 200, 206–208, 210, 212–215, 221  
Гюго Виктор (1802–1885), французский поэт и романист 80  
Даби (Дабит) Эжен (1898–1936), французский писатель 24  
Дейч Александр Иосифович (1893–1972), литератор 42, 45, 60, 65, 68, 73, 90, 91, 98, 150, 160  
Державин Владимир Васильевич (1908–1975), поэт-переводчик 34  
Дёблин Альфред (1878–1957), немецкий писатель 24  
Джойс Джеймс (1882–1941), ирландский писатель 143  
Дода — см. Клепинин Н.А.  
Додэ Альфонс (1840–1897), французский писатель 168  
Долматовский Евгений Аронович (1915–1994), поэт 79  
Дос Пассос Джон (1896–1970), американский писатель 24  
Достоевский Федор Михайлович (1821–1881), писатель 42, 62, 67, 69, 75, 80, 93, 117  
Дю Гар — см. Мартен дю Гар Р.  
Дюамель Жорж (1884–1966), французский писатель и поэт 95  
Дювилье Жюльен (1896–1967), французский кинорежиссер 201  
Е. А. — см. Насонова Е.А.  
Жид Андре (1869–1951), французский писатель 131, 143, 168, 213, 216  
Жиано Жан (1895–1970), французский писатель 100, 101  
Жирмунский Виктор Максимович (1891–1971), филолог 133  
Журавлев Дмитрий Николаевич (1900–1991), артист, мастер художественного слова, ученик Е. Я. Эфрон 18, 186, 200  
Зелинский Корнелий Люцианович (1896–1970), критик, литературовед 41, 43, 49, 201, 209  
Зина — см. Ширкевич З.М.  
Золя Эмиль (1840–1902), французский писатель 55, 62, 80, 149  
Ибсен Генрик (1828–1906), норвежский драматург 58, 98

- Ильенков Василий Павлович (1897–1967), писатель 169
- Ирина, Ириша — см. Горошевская И.П.
- Канторович Лев Владимирович (1911–1941), писатель 39
- Карко Франсис (1886–1959), французский писатель 27, 202
- Катаев Валентин Петрович (1897–1986), писатель 138, 149
- Кафка Франц (1883–1924), австрийский писатель 24, 128
- Квитко Етл Львовна (Иэтта) (1920–1991), дочь писателя Л. М. Квитко (1890–1952), художница, голицынская знакомая Г. Эфрона 26
- Кериллис Анри де (1889–1958), французский политический деятель, публицист 93
- Кипура Ян, итальянский оперный певец 23, 27
- Кира, Кирилл — см. Хенкин К.В.
- Кирпотин Валерий Яковлевич (1898–1990), критик 198
- Кирсанов Семен Исаакович (1906–1972), поэт 19, 39
- Клепинин Николай Андреевич (1899–1941, расстрелян), бывший гвардейский офицер, доброволец, в эмиграции с 1920 по 1937. После возвращения в СССР работал референтом ВОКС'а; сосед по болшевской даче семьи Г. Эфрона; арестован 7 ноября 1939 г. в Болшеве 63, 66, 69
- Клепинина Нина (Антонина) Николаевна (1894–1941, расстреляна), искусствовед, жена Н. А. Клепинина, мать А. В. и Д. В. Сеземанов и С. Н. Клепининой; арестована 7 ноября 1939 г. в Москве 63, 66, 69, 156, 200
- Клепинина Софья Николаевна (1929–2000), дочь Н. Н. и Н. А. Клепининых, журналистка 62, 66, 157
- Клодель Поль (1868–1955), французский поэт и драматург 141
- Коган Петр Семенович (1872–1932), историк литературы 198
- Кокандаев, майор, военком Октябрьского райвоенкомата г. Ташкента 103
- Корнейчук Александр Евдокимович (1905–1972), драматург 82, 98
- Корьюс Милица, польская певица, актриса, исполнительница роли героини в кинофильме «Большой вальс» 27

Кот — см. Эфрон К.М.  
Кочетков Александр Сергеевич (1900–1953), поэт, драматург, переводчик 34, 35, 37, 39, 43, 65  
Кручёных Алексей Елисеевич (1886–1968), поэт-футурист, деятель русского авангарда, коллекционер 25, 201, 203  
Кудрова Ирма Викторовна, исследовательница творчества М. Цветаевой 210  
Кюри Ева, дочь Марии Склодовской и Пьера Кюри, автор биографии М. Кюри 64  
Л. Г. — см. Бать Л. Г.  
Л. И. — см. Толстая Л.И.  
Лавренев Борис Андреевич (1891–1959), писатель, драматург 41  
Лафорг Жюль (1860–1887), французский поэт-символист 141  
Лейтес, писательница 204  
Лемешев Сергей Яковлевич (1902–1977), певец, солист Большого театра 28, 203  
Леонов Леонид Максимович (1899–1994), писатель 126, 169  
Леонтьев Алексей Иванович (р. 1918), футболист, вратарь команды «Спартак» (Москва) 23  
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841), поэт 42, 58, 79, 80, 99, 190  
Лесков Николай Семенович (1831–1895), писатель 24  
Либединская Лидия Борисовна (р. 1921), писательница 203  
Липскеров Константин Абрамович (1889–1954), поэт, переводчик 38, 43  
Лопату Голя, знакомый А. С. Эфрон 88  
Лопе де Вега (1562–1635), испанский драматург 58, 98  
Лотреамон (1846–1870), французский поэт 154  
Льюис Синклер (1889–1951), американский писатель 131  
М. И. — см. Цветаева М.И.  
Мазерель Франс (1889–1972), бельгийский художник-экспрессионист 26  
Майяр, директор французской частной школы, где учился Г. Эфрон 69  
Мак-Орлан Пьер (1882–1970), французский писатель 79

- Малларме Стефан (1842–1898), французский поэт-символист 5, 15, 24, 55, 62, 67, 128, 154, 173, 174, 178, 180, 182, 184
- Мальро Андре (1901–1976), французский писатель и государственный деятель 28
- Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938, погиб в заключении), поэт 79
- Мандельштам Надежда Яковлевна (1899–1980), жена О. Э. Мандельштама, литератор 148
- Манн Томас (1875–1955), немецкий писатель 92, 138, 149
- Маритэн Жак (1882–1973), французский религиозный философ 67, 93
- Мартен дю Гар Роже (1881–1958), французский писатель 91, 92, 118
- Мартынов, редактор Гослитиздата 201
- Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930), поэт 19, 20, 22, 24, 25, 82, 199
- Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866–1941), писатель 190
- Миллер, кузен Д. В. Сеземана 36, 43
- Мистенгэтт (псевдоним Жанны Буржуа, 1873–1956), французская эстрадная певица, звезда парижского мюзик-холла 154
- Митька — см. Сеземан Д. В.
- Михоэлс Соломон Михайлович (Вовси; 1890–1948, убит), актер и режиссёр, с 1929 руководитель московского еврейского театра 43
- Миша — см. Фельдштейн М.С.
- Монтень Мишель (1533–1592), французский писатель и философ 156, 160
- Монтерлан Анри де (1896–1972), французский писатель 128, 131, 138, 141, 149, 218
- Мопассан Ги де (1850–1893), французский писатель 168
- Мориак Франсуа (1885–1970), французский писатель 67, 93
- Моруа Андре (1885–1967), французский писатель 67, 93
- Музафаров И.И., товарищ Г. Эфрона по ташкентской школе 209, 211, 212

- Муля — см. Гуревич С.Д.
- Мюссе Альфред де (1810–1857), французский поэт-романтик 154
- Навои Алишер (1441–1501), узбекский поэт и мыслитель 91
- Насонов Арсений Николаевич (1898–1965), историк, брат  
Н. Н. Клепининой 36, 62, 66, 157
- Насонова Екатерина Александровна (1870–1954), мать Н. Н. Кле-  
пининой 49, 62, 66, 157
- Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877), поэт 43
- Нина — см. Клепинина Н.Н. (с. 220 — Гордон Н. П.)
- Ницше Фридрих (1844–1900), немецкий философ и писатель  
198
- Олдингтон Ричард (1892–1962), английский писатель 92
- Павел I (1754–1801), российский император 177
- Павлик — см. Толстой П.Н.
- Пастернак Борис Леонидович (1890–1960), поэт 166, 201, 205
- Пеги Шарль (1873–1914), французский поэт 141
- Первенцев Аркадий Алексеевич (1905–1981), писатель 169
- Пешкова Екатерина Павловна (урожд. Волжина; 1876–1965), об-  
щественная деятельница, в 1896–1904 гг. — жена А. М. Горь-  
кого 38, 40
- Пикассо Пабло (1881–1973), французский художник 26
- Писемский Алексей Феофилактович (1821–1881), писатель 149
- По Эдгар Аллан (1809–1849), американский писатель 24, 48
- Погодин Николай Федорович (1900–1962), драматург 38, 41, 66,  
199
- Полэр (театральный псевдоним Эмили-Мари Бушо; 1879–1939),  
французская актриса 154
- Предатько Валентина, школьная подруга Г. Эфрона 45, 119, 203
- Пристли Джон Бойнтон (1894–1984), английский писатель, дра-  
матург 21
- Прокофьев Сергей Сергеевич (1891–1953), композитор 106,  
198
- Прокофьева Нина — см. Гордон Н.П.
- Пруст Марсель (1871–1922), французский писатель 47



Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), поэт 43, 80  
Рабле Франсуа (1494–1553), французский писатель 160  
Радзинская Софья Юрьевна, жена драматурга С. А. Радзинского  
(1889–1969), ташкентская знакомая Г. Эфрона 70  
Расин Жан (1639–1699), французский поэт-классицист, драматург  
24  
Раскин Александр Борисович (1914–1971), писатель-сатирик 58  
Рахманинов Сергей Васильевич (1873–1943), композитор 114  
Рая, ташкентская знакомая Г. Эфрона 167–170, 182, 185, 194  
Рейнер Луиза, немецкая и американская актриса, исполнитель-  
ница роль жены Штрауса в кинофильме «Большой вальс»  
Рембо Артюр (1854–1891), французский поэт-символист 141  
Ренар Жюль (1864–1910), французский писатель 79  
Ренье Анри де (1864–1936), французский поэт-символист, рома-  
нист 168  
Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844–1908), композитор  
195  
Рихтер Святослав Теофилович (1915–1997), пианист 198  
Риц, братья, американские киноактеры 94  
Ржановская, спутница по группе эвакуированных 205  
Роллан Ромен (1866–1944), французский писатель и обществен-  
ный деятель 62  
Ромэн Жюль (1885–1972), французский писатель 62, 91, 92, 118,  
131, 168, 195  
Саакянц Анна Александровна (1931–2002), исследовательница  
творчества М. Цветаевой 196, 210  
Садовской Борис Александрович (1881–1952), поэт 40, 42, 57, 71,  
208, 215  
Саконская, спутница по группе эвакуированных 205  
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1926–1889), писатель 19,  
42, 198  
Сартр Жан-Поль (1905–1980), французский писатель и философ  
15, 24, 142, 143, 218  
Свифт Джонатан (1667–1745), английский писатель 91

- Сегаль (в замужестве Бродская), Лидия Максимовна (1892–1977), переводчица, художница-дилетантка, подруга Н. Н. Клепининой 156, 218
- Сезанн Поль (1839–1906), французский художник 66
- Сеземан Алексей Васильевич (1916–1989), старший сын Н. Н. Клепининой от первого брака; переводчик, был арестован одновременно с матерью и отчимом 7 ноября 1939 г. в Большеве 68, 75, 144, 157, 172, 173, 179, 182, 184, 185, 188, 191, 214, 218
- Сеземан Дмитрий Васильевич (р. 1922), младший сын Н. Н. Клепининой от первого брака; переводчик, с 1975 г. живет во Франции 30, 31, 36, 43, 45, 49, 53, 62, 63, 66, 67, 69, 73, 75, 81, 94, 118, 121, 128, 151, 157, 163, 173, 180, 182, 194, 197, 206, 207, 221
- Селин Луи (1894–1961), французский писатель 143, 195, 214
- Сельвинский Илья Львович (1899–1968), поэт 179, 181
- Семичастный Михаил Васильевич (1910–1978), футболист, правый край нападения команды «Динамо» (Москва) 23
- Сережа — см. Эфрон С.Я.
- Сименон Жорж (1903–1989), французский писатель 14, 141
- Симонов Константин Михайлович (1915–1979), писатель 43, 58
- Синклер Эптон (1878–1968), американский писатель 92, 114, 124
- Скосырев Петр Георгиевич (1900–1960), писатель 138
- Слободской Морис Романович (1913–1991), драматург, писатель-сатирик 58
- Сологуб Федор Кузьмич (1863–1927), писатель 79
- Софа — см. Клепинина С.Н.
- Сталин Иосиф Виссарионович (1879–1953) 99
- Стальский Сулейман (1869–1937), лезгинский советский поэт-ашуг 159
- Стендаль (1783–1842), французский писатель 80
- Стивенсон Роберт Льюис (1850–1894), английский писатель 187
- Стравинский Игорь Федорович (1882–1971), композитор 27
- Струцовская, представительница Литфонда в эвакуации 204
- Суорсаут Глэдис, американская киноартистка 27

- Тагер Евгений Борисович (1906–1984), литературовед 49, 55, 209  
Тагер Елена Ефимовна (1909–1981), искусствовед, жена Е. Б. Тагера 49, 55  
Тамара Ханум (Тамара Артёмовна Петросян; (р. 1906), узбекская танцовщица, певица 127  
Твен Марк (1835–1910), американский писатель 24  
Толстая Людмила Ильинична (урожд. Крестинская; 1906–1982), жена А. Н. Толстого с 1935 г. 46–48, 53, 54, 61, 66, 82, 107, 112, 113, 118–120, 141, 151, 165, 210, 211, 217–219  
Толстой Алексей Николаевич (1883–1945), писатель 37, 41, 43, 46, 48, 51, 66, 75, 79, 82, 98, 107, 112, 117, 119, 120, 138, 139, 165, 201, 217, 218  
Толстой Дмитрий Алексеевич (р. 1923), сын А. Н. Толстого и Н. В. Крандиевской, композитор 66  
Толстой Павел Николаевич (1909–1941), племянник А. Н. Толстого; с 1917 по 1933 г. жил за границей; по возвращении в СССР работал в редакции журнала «ВОКС», был арестован 29 июля 1939 г. 66, 76, 100, 166  
Трэйл (урожд. Гучкова, в первом браке Сувчинская) Вера Александровна (1906–1987), знакомая семьи Эфрон 69, 214  
Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883), писатель 42, 74, 75, 79, 80, 82  
Тэн Ипполит (1828–1893), французский философ и историк 45  
Улицкий Михаил Абрамович (1894–1976), драматург 38  
Уткин Иосиф Павлович (1903–1944), поэт 41  
Уэллс Герберт Джордж (1866–1946), английский писатель 92  
Фаррер Клод (1876–1957), французский писатель 29, 168  
Федин Константин Александрович (1892–1977), писатель 79  
Фейнберг Самуил Евгеньевич (1890–1962), пианист 114  
Фейхтвангер Лион (1884–1958), немецкий писатель 114, 137  
Фельдштейн Михаил Соломонович (1884–1939), юрист, муж В. Я. Эфрон, отец К. М. Эфрона; был арестован 26 июля 1938 г. 41, 209  
Фенелон (1651–1715), французский писатель и религиозный деятель 10

- Филипп Шарль-Луи (1874–1909), французский писатель 101
- Флиер Яков Владимирович (1912–1977), пианист 167
- Флобер Гюстав (1821–1880), французский писатель 80, 128, 137, 176
- Франс Анатолий (1844–1924), французский писатель 49, 62, 80
- Хаксли Олдос (1894–1963), английский писатель 43, 92, 131, 218
- Хемингуэй Эрнест (1899–1961), американский писатель 42, 92
- Хенкин Владимир Яковлевич (1883–1953), артист, с 1934 г. в Театре сатиры; брат Виктора Яковлевича Хенкина 72
- Хенкин Кирилл Викторович (р. 1916), переводчик; сын Е. Я. Хенкиной и В. Я. Хенкина; с 1973 г. живет во Франции, автор книги «Охотник вверх ногами» («Посев», 1980) 63, 67, 72
- Хенкина (урожд. Нелидова) Елизавета Алексеевна (1881–1963), актриса театра Н. Балиева «Летучая мышь», жена Виктора Яковлевича Хенкина (1882–1944), мать К. В. Хенкина; выехала из СССР в 1924 г., вернулась в 1940 г. 63, 67, 72
- Хлебников Велимир (Виктор Владимирович) (1885–1922), поэт-футурист 73
- Цветаева Анастасия Ивановна (1894–1993), младшая сестра М. И. Цветаевой 183, 186, 194
- Цветаева Марина Ивановна (1892–1941) 5, 18, 20, 24–31, 40, 41, 56, 60, 61, 63–65, 67, 71, 72, 87–89, 101, 104, 106, 108, 109, 118, 147, 194, 198, 201–205, 215
- Цвейг Стефан (1881–1942), австрийский писатель 43
- Цявловская Татьяна Григорьевна (1897–1978), литературовед, пушкинист, жена М. А. Цявловского 8
- Цявловский Мстислав Александрович (1883–1947), историк литературы, пушкинист 8, 150
- Чайковский Модест Ильич (1850–1916), драматург, либреттист, брат П. И. Чайковского 200
- Чайковский Петр Ильич (1840–1893), композитор 19–21, 26, 43, 106, 199, 200
- Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889), писатель 42
- Честертон Гилберт Кит (1874–1936), английский писатель 86

- Чехов Антон Павлович (1860–1904), писатель 24, 42, 55, 62, 67, 69, 74, 76, 79, 80, 82, 159, 195
- Чуковская Лидия Корнеевна (1907–1996), писательница, критик, дочь К. И. Чуковского 145
- Чуковский Корней Иванович (1882–1969), писатель, критик, литературовед 128
- Шагинян Мирэль Яковлевна, художница, дочь М. С. Шагинян, голицынская знакомая Г. Эфрона 26
- Швейцер Виктория, исследовательница творчества М. Цветаевой 209
- Шекспир Уильям (1564–1616), английский писатель 49
- Шеллер-Михайлов Александр Константинович (1838–1900), писатель 79, 124
- Шемшурин С., сослуживец Г. Эфрона по запасному полку в Алабине 175
- Ширкевич Зинаида Митрофановна (1888–1977), подруга Е. Я. Эфрон, жившая вместе с нею 18, 40, 41, 45, 46, 48, 56, 71, 110, 173, 174, 179, 181–183, 186–188, 191, 193, 195, 200, 212
- Шолохов Михаил Александрович (1905–1984), писатель 159
- Шопен Фридерик (1810–1849), польский композитор 156
- Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906–1975), композитор 49
- Шоу Джордж Бернард (1856–1950), английский писатель 92
- Шток Исидор Владимирович (1908–1980), драматург 38, 39, 43, 44, 48
- Штраус Иоганн (1825–1899), австрийский композитор 163
- Щедрин — см. Салтыков-Щедрин М.Е.
- Эйснер Алексей Владимирович (1905–1984), в эмиграции поэт и журналист; вернулся в СССР, был арестован и сослан; знакомый семьи Эфрон 68, 214
- Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967), писатель 26, 124, 151, 207
- Эфрон Ариадна Сергеевна (1912–1975), дочь М. И. Цветаевой и С. Я. Эфрона, переводчица; была арестована 27 августа 1939 г. на даче в Болшеве 18, 19, 22, 25, 26, 28, 39, 42, 44, 45, 56, 63, 67,

68, 71, 72, 76, 80, 83, 87, 90, 95, 99, 100, 103, 106, 109, 110, 112, 113, 116, 118, 119, 121, 125, 129, 134, 137, 141, 144, 147, 150, 154, 156, 158, 161, 166, 178, 180, 182, 183, 191, 192, 194, 199, 212–215, 217, 218, 220, 221

Эфрон Вера Яковлевна (1888–1945), старшая сестра С. Я. Эфрона, мать К. М. Эфрона 41, 71, 200, 209

Эфрон Елизавета Яковлевна (1885–1976), театральный педагог, режиссёр; старшая сестра С. Я. Эфрона 18–22, 26, 29, 30, 39–41, 45, 46, 48, 50, 53, 57, 63, 70, 72, 81, 88, 90, 98, 110, 113, 118, 165, 172–174, 179, 181–183, 186–188, 191–193, 195, 199, 200, 207, 208, 210, 212, 213, 215, 218, 220, 223

Эфрон Константин Михайлович (р. 1921), биолог; сын В. Я. Эфрон и М. С. Фельдштейна 40, 47, 49, 53, 71, 113, 200, 208

Эфрон Сергей Яковлевич (1893–1941, расстрелян), журналист; муж М. И. Цветаевой, отец А. С. Эфрон и Г. С. Эфрона; был арестован 10 октября 1939 г. на даче в Болшеве 67, 69, 72, 100, 103, 106, 109, 112, 214

Эфрос Абрам Маркович (1888–1954), писатель, переводчик, искусствовед 38, 208, 222

Эффель Жан (1908–1982), французский график 92

Яковлева Нина Герасимовна (1888–1967), переводчица 202

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Е. Коркина</i> Грустная сказка — скучная история .....	5
---	---

### ПИСЬМА

#### I. Москва. 1940–1941

1. Е. Я. Эфрон. <i>20 января 1940</i> .....	18
2. А. С. Эфрон. <i>10 марта 1941</i> .....	18
3. А. С. Эфрон. <i>24 марта 1941</i> .....	19
4. А. С. Эфрон. <i>13 апреля 1941</i> .....	20
5. А. С. Эфрон. <i>24 мая 1941</i> .....	22
6. А. С. Эфрон. <i>3 июня 1941</i> .....	25
7. А. С. Эфрон. <i>7 июня 1941</i> .....	26
8. А. С. Эфрон. <i>19 июня 1941</i> .....	28
9. Е. Я. Эфрон; Д. В. Сеземану. <i>11 сентября 1941</i> .....	29

#### II. Ташкент. 1942–1943

10. С. Д. Гуревичу. <i>26 мая 1942</i> .....	34
11. Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич. <i>3 апреля 1942</i> .....	40
12. Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич. <i>9 апреля 1942</i> .....	41
13. Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич. <i>25 мая 1942</i> .....	45
14. Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич. <i>8 июня 1942</i> .....	46
15. Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич. <i>18 июня 1942</i> .....	48
16. Е. Я. Эфрон. <i>21 июля 1942</i> .....	50
17. Е. Я. Эфрон. <i>7 августа 1942</i> .....	53
18. А. С. Эфрон. <i>17 августа 1942</i> .....	56
19. А. С. Эфрон. <i>7 сентября 1942</i> .....	63
20. А. С. Эфрон. <i>18 сентября 1942</i> .....	68
21. Е. Я. Эфрон. <i>22 сентября 1942</i> .....	70
22. А. С. Эфрон. <i>7 октября 1942</i> .....	72
23. А. С. Эфрон. <i>10 октября 1942</i> .....	76
24. А. С. Эфрон. <i>11 ноября 1942</i> .....	80
25. А. С. Эфрон. <i>22 ноября 1942</i> .....	83
26. А. С. Эфрон. <i>4 декабря 1942</i> .....	87
27. А. С. Эфрон. <i>13 декабря 1942</i> .....	90
28. А. С. Эфрон. <i>20 декабря 1942</i> .....	95
29. А. С. Эфрон. <i>1 января 1943</i> .....	99
30. С. Д. Гуревичу. <i>8 января 1943</i> .....	102
31. А. С. Эфрон. <i>8 января 1943</i> .....	110

32.	А. С. Эфрон. 27 января 1943 .....	112
33.	Е. Я. Эфрон. 12 февраля 1943 .....	113
34.	А. С. Эфрон. 22 февраля 1943 .....	113
35.	А. С. Эфрон. 4 марта 1943 .....	116
36.	Е. Я. Эфрон. 11 марта 1943 .....	118
37.	А. С. Эфрон. 25 марта 1943 .....	119
38.	А. С. Эфрон. 28 марта 1943 .....	121
39.	А. С. Эфрон. 3 апреля 1943 .....	125
40.	А. С. Эфрон. 15 апреля 1943 .....	129
41.	А. С. Эфрон. 20 апреля 1943 .....	134
42.	А. С. Эфрон. 2 мая 1943 .....	137
43.	А. С. Эфрон. 7 мая 1943 .....	141
44.	А. С. Эфрон. 11 мая 1943 .....	144
45.	А. С. Эфрон. 14 мая 1943 .....	147
46.	А. С. Эфрон. 26 мая 1943 .....	150
47.	А. С. Эфрон. 31 мая 1943 .....	154
48.	А. С. Эфрон. 4 июня 1943 .....	158
49.	А. С. Эфрон. 11 июня 1943 .....	161
50.	А. С. Эфрон. 30 июня 1943 .....	161
51.	Е. Я. Эфрон. 12 июля 1943 .....	165
52.	А. С. Эфрон. 27 июля 1943 .....	166

### III. Армия. 1944

53.	Е. Я. Эфрон. <Начало марта 1944> .....	172
54.	Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич. 18 марта 1944 .....	173
55.	Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич. <Конец марта 1944> .....	174
56.	Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич. 13 апреля 1944 .....	179
57.	Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич. <Конец апреля 1944> .....	181
58.	Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич. 5 мая 1944 .....	182
59.	Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич. 18 мая 1944 .....	183
60.	Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич. 3 июня 1944 .....	186
61.	Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич. <12 июня 1944> .....	187
62.	Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич. 14 июня 1944 .....	188
63.	Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич. 15 июня 1944 .....	191
64.	А. С. Эфрон. 17 июня <1944> .....	192
65.	Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич. 30 июня 1944 .....	193
66.	Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич. 4 июля 1944 .....	195

Примечания .....	196
------------------	-----

Указатель имен .....	224
----------------------	-----



**Эфрон Г. С.**  
Э 94 Письма. 2-е изд. — М.: Дом-музей Марины  
Цветаевой, Королев: Музей М. И. Цветаевой в Болшеве,  
2002. — 240 с.

ISBN 5-93015-073-0

Второе издание писем Георгия Эфрона, сына М. И. Цветаевой, к родным: сестре Ариадне в лагерь и тетке Е. Я. Эфрон. Письма 1940–1944 годов из Москвы, Чистополя, Ташкента, а также с фронта, где в 19 лет оборвалась его жизнь, отражают отчаянное одиночество молодого человека и трагедию всей его семьи.

**Георгий Сергеевич Эфрон**

**ПИСЬМА**

Подписано в печать 15.12.2002. Тираж 1000 экз.  
Отпечатано в типографии Издательского Дома «Грааль»

